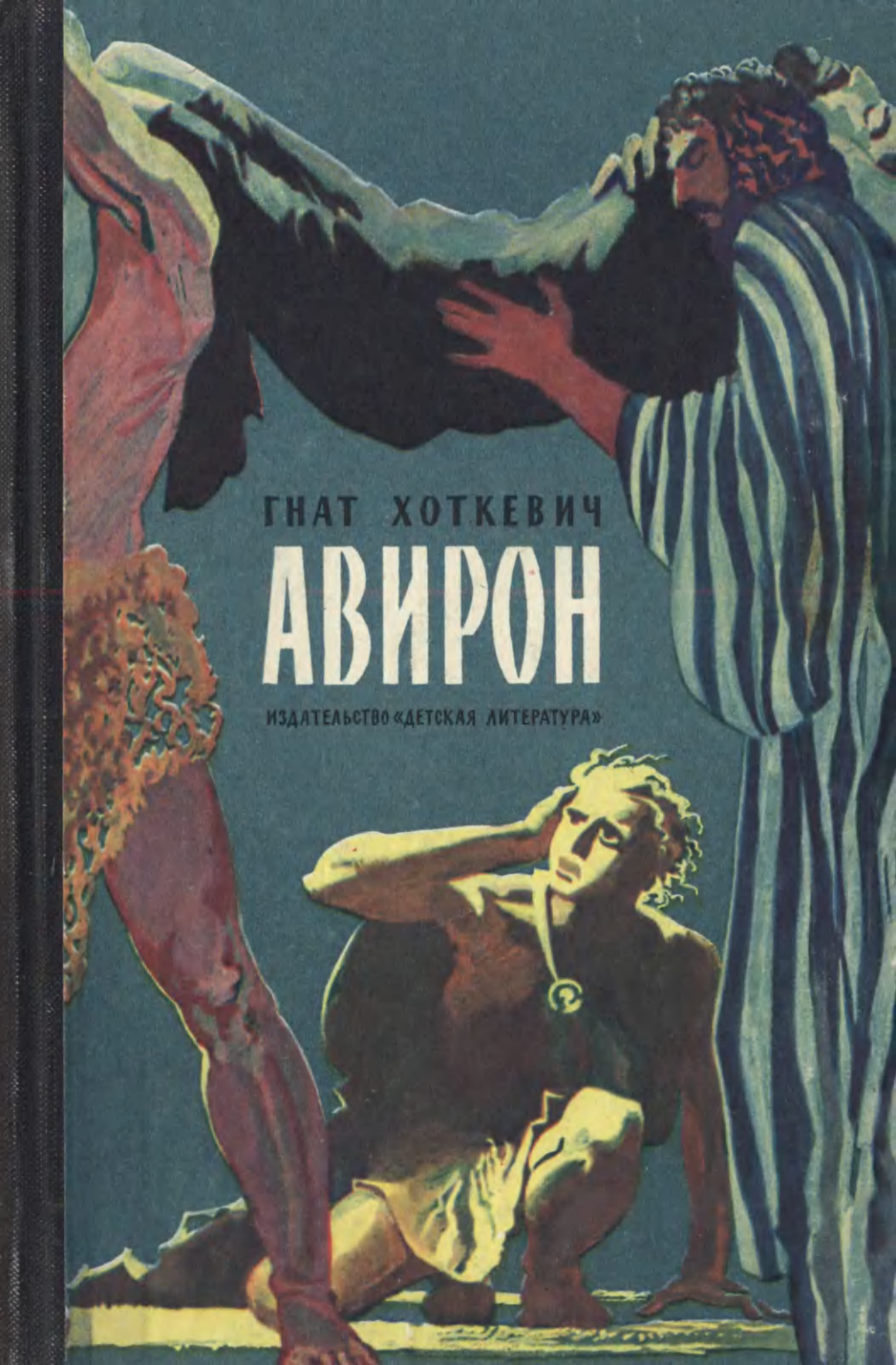


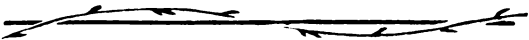


ГНАТ ХОТКЕВИЧ

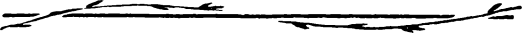
АВИРОН

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

ГНАТ ХОТКЕВИЧ



АВИРОН



ПОВЕСТЬ

*Перевод
с украинского
Вл. Россельса*

•

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“
Москва 1969

С (Укр)
Х 85

Повесть печатается с незначительными сокращениями

Рисунки В. Самойлова

ПРЕДИСЛОВИЕ

Из глубины веков дошла к нам легенда о чудотворце и пророке Моисее.

Это мифическое сказание о вожде, вознесенном библейской историей на пьедестал святости, издавна привлекает художников, писателей, композиторов, скульпторов разных времен и народов. К числу интересных, талантливых толкований библейского сюжета относятся и повесть «Авирон».

Автор ее, украинский писатель Гнат Мартынович Хоткевич (1877—1938), был человеком разносторонне одаренным, полным неиссякаемой творческой энергии.

Еще учась в Харьковском технологическом институте, он создал студенческий театр и с ним во время каникул объезжал уездные городки. Одновременно юноша усиленно занимался музыкой и вскоре стал бандуристом в знаменитом хоре композитора Лысенко.

В эти же годы Хоткевич принялся за изучение украинской народной музыки как этнограф и фольклорист. Таким образом, из института он вышел одновременно инженером, режиссером, музыкантом и этнографом. В каждой из этих областей он оставил заметный след. Его дипломной работой был — в 1901 году! — проект четырехтактного двигателя для железнодорожного локомотива. Он создал самодеятельные театральные коллективы, вошедшие в историю театра, написал две монографии о сценическом искусстве. Организовал капеллу бандуристов, а затем, впервые в истории музыки, класс бандуры в высшей музыкальной школе. Известны его классические исследования о народной музыке, учебник для бандуристов.

Однако наибольшую известность принесли Гнату Хоткевичу литературные произведения. Первую книгу он успел выпустить еще до окончания института, а впоследствии приобрел широкую популярность как автор многочисленных рассказов, повестей, драм. Среди них произведения о революции 1905 года, лирико-романтическая поэма в прозе «Каменная душа», основанная на фольклоре карпатских горцев — гуцулов, драматическая тетралогия «Богдан Хмельницкий», историческая повесть о вожде крестьянского движения на Западной Украине Олексе Довбуше («Довбуш»).

В последние годы жизни Хоткевич писал четырехтомный роман-эпопею о Тарасе Шевченко. Но писатель успел подготовить к изданию только первый том.

Повесть «Авирон» в литературном наследии Гната Хоткевича занимает особое место. Она написана в конце девятисотых годов в Галиции. Сюда писатель вынужден был бежать после революции 1905 года, чтобы не попасть в руки царской охраны: ведь Хоткевич принимал непосредственное участие в революционной борьбе. Он был организатором харьковских железнодорожников, председателем стачечного комитета и одним из руководителей вооруженного восстания. Издан был «Авирон» позднее, через несколько лет после возвращения автора на родину, летом 1917 года.

Обращение Гната Хоткевича к библейскому сюжету, после того как он опубликовал цикл остро политических очерков, рассказов и пьес о революционной борьбе народа на баррикадах 1905 года, только на первый взгляд может показаться несколько странным. Все дело в том, какое толкование дал писатель мифу о Моисее.

Оттолкнувшись от древнего источника, Хоткевич, подобно другим большим художникам, дал этому библейскому мифу свое собственное толкование. «Ави-

рон» — произведение, обращенное к сердцу и разуму современников, заставляющее их задуматься над большими и важными вопросами жизни и веры. Религия и народ, вера и искусство, догмат и разум — вот круг проблем, волновавших писателя.

В центре повести — фигура Моисея. Великий пророк, помазанник божий, держит верующих в смирении и страхе. Но в противовес легенде у Хоткевича этот жестокий вождь оказывается обыкновенным властолюбивым обманщиком, сила которого зиждется на слепой вере израильтян в то, что Моисей послан им самим богом.

Крушение легенды о Моисее показано через образ главного героя повести, юноши Авирона. В библейском сказании есть упоминание о том, что Авирон вместе с несколькими другими израильтянами восстал на Моисея. В повести Хоткевича развернут этот эпизод. Читатель узнает, как Авирон, сперва глубоко веровавший, постепенно теряет веру, разочаровывается в ней, убеждаясь, что пророчества Моисея — ложь и что держит он власть в своих руках только ради самой власти. Юношу мучают сомнения, он мечется в поисках истины и наконец наступает логическая развязка — Авирон бросает дерзновенный вызов богу: «Да живешь ли ты в небе, держишь ли вправду гром свой и меч? Или мы только должны верить, что ты есть?» Молчат небеса. Безмолвна пустыня. Авирон, потерявший веру, готов восстать против Моисея — своего вчерашнего кумира...

Интересны и другие действующие лица повести. Среди сонма верующих один лишь Корей — безбожник и смутьян — находит в себе силу обвинить Моисея в лицемерии, будит в душах соплеменников сомнение в непогрешимости пророка, в истинности веры.

Могучее дарование художника — скульптора Веселила отдано народу, и он верен даже его заблуждениям.

Повинуясь желаниям израильтян получить видимого бога, такого же, как у других, неизраильских племен, Веселиил отливает золотого тельца, рискуя навлечь на себя беспощадный гнев пророка. Однако Моисей щадит его, понимая, что искусство — великая сила и властителям выгодно опереться на него, чтобы величием красоты увлечь за собой подданных. Веселиилу поручают украсить святилище истинного бога. Но тут его талант восстает, и он лепит смеющегося херувима, издевающегося над святыней...

Правда, это лишь минутная вспышка, художнику недостает моральной силы отстоять свое творение, и он придает умильные черты крылатому мальчику. Но автор тем временем успевает показать Авирону (и нам, читателям) еще одну грань характера пророка — его цинизм. Моисей, заставляющий Веселиила делать для народа святыню, **сам** вместе с художником потешается над смеющимся херувимом, а стало быть, кощунствуя, издевается над верой, которую проповедует...

Под пером талантливого писателя библейская легенда зазвучала по-новому. Главная тема повести — крушение веры чистого сердцем и благородного душой юноши Авирона во всемогущего бога и его пророка — нашла глубокое воплощение.

В первом издании автор посвятил повесть «всем Авиронам» — всем тем, кто рвет духовные оковы, ищет пути к истине, идет навстречу царству разума, освобождаясь из-под гнета веры и суеверий. Повесть Гната Хоткевича близка нам и поныне как предостережение от слепой веры в демагогические лозунги лжепророков и авантюристов, тем более что за их безрассудные действия платят своими жизнями простые люди.

Федор Погребенник



I

Как давно ушел пророк на гору!

О, зачем, зачем он бросает нас? ..

Пока он здесь, пока он с нами, все благополучно и все спокойны. Все знают, что здесь среди них божий пророк, с кем говорил сам Адонай и кто без страха смотрит в лицо господу сил. Как дитя радуется близ матери и обращается к играм своим, ощутив рядом ту, что охраняет его покой, так Израиль, видя в сонме своем Моисея, обретает уверенность, спокойствие и обращается к своим занятиям.

— А что, Моисей ничего не говорил? — встав поутру, спросит сосед соседа.

— Нет, ничего. По крайней мере, я не слышал, — ответит тот, стряхивая с бороды остатки пищи. — А что?

— Да ничего. Я так. — И, помолчав, добавит: — Видел я вчера его на судилище. Великий муж!..

— О, да, да! — часто закивав головой, подтвердит сосед, и они разойдутся, спокойные, уверенные, что с ними ничего не случится, а если и случится, то есть кому подумать о них и спасти. Он все знает, все умеет — ведь ему помогает сам бог!

Да! Велик Моисей! Слово господне глаголет устами его, и премудростью божией препоясаны его чресла. Стопы его следуют по следам Божиим, и мудрость всевышнего на нем. Глаза его видели высоту и силу творца, и ухо слышало гром небесного глагола. Божью борозду он пашет! Садит божий виноград, славнейший из виноградарей, и нам дает испить из чаши благодати господней.

Где же ты теперь? Зачем, сила, оставляешь нас и делаешь слабыми? Почто, ветер, перестанешь обвеивать наши лица, сердцам даешь гореть на огне страстей? Великий пророк!.. Ужели ты не знаешь о шатаниях Израиля, ужели не слышишь подстрекательских речей Корея и ему подобных, и Айнана, и брата моего, родного брата Датана? О господи, заслони свое ухо перед хулой их и не возноси меч мести на их безумие! Дай им время опомниться, ибо, опомнясь, они познают охраняющего путь их днем и в ночи и падут ниц перед тем, кто поддерживает в них жизнь силой звука своего имени.

Так говорил в душе юный Авирон, бродя неприкаянно среди иудейских шатров, полубессознательно прислушиваясь к людскому гомону, перескакивая через кучи сора и палкою отбиваясь от собак.

Между шатрами набралось уже столько всякого мусора, что не пройти. Тут было раздолье псам и малым детям. Они, и те и другие, едва забрезжит солнце, выползали из своих укромных местечек и принимались барахтаться в этом мусоре, разыскивая гнилые остатки пищи. А найдя, дрались: дети с детьми, псы с псами либо вперемешку; и победитель съедал, сопя и поглядывая по сторонам: не хочет ли кто у него вырвать? Когда же наставало обеденное время, матери, пискливо вереща, бегали по этим свалкам, разыскивали своих детей, и часто можно было наблюдать, как какая-нибудь еврейка, призывая все небесные проклятья, волочет двух детей, как котят, за шиворот, а третьего подталкивает вперед коленом.

А его нет! Нет того, кто велит блюсти себя в чистоте, часто мыться и относить сор далеко от шатров. И вот женщины не дают себе труда отойти хоть на несколько шагов и выливают все тут же, лишь приподняв по́лы. А тому, кто напомним им веления Моисея, они тычут в руки свою посуду и кричат:

— Сам неси, если ты такой умный! Пусть несет, пусть несет, не мешайте ему!

— Будь у тебя столько детей, сколько у меня, ты ночью по нужде не захотел бы выйти.

И подымался крик и гам, и обрушивалась

туха укоров. «Разве мы знаем? Может, завтра же снимемся с этого места и никогда больше не разобьем здесь кущей своих».

... С тоской бродил юный Авирон меж кущами, приглядывался к беспорядку, прислушивался к людскому гомону. А гомон тот, сперва тихий и неясный, с каждым днем звучал все отчетливее и отчетливее, набирал силы и дерзости: рабы остались без господина и души их подымали бунт.

II

Главное, никто не знает, когда он вернется.

В тот день, как Израиль пришел сюда, к этой горе, из Рефидима, Моисей поднялся на гору и говорил с богом. Этого давно уже не было, верно, потому, что не попадалось горы, — все ровная да ровная пустыня. Откуда же было богу говорить? А тут высоченная гора, вот Моисей и пошел туда. И говорил с богом. А спустясь вниз, созвал всех старейшин и седых мужей Израиля и так говорил перед ними:

— Вижу я, вижу, что пошатнулась кое в ком вера божия. Слышу я, слышу, что иные уста глаголят хулу. А Израиль маловерный начинает прислушиваться к этой клевете, истекающей из уст, и гаснет исповедание воли всемогущего среди народа его. И даже меня, коего господь благословил милостью своею и призвал быть посредником между вами и собой, даже меня иные слушают без охоты, и кривятся, слыша приказ мой, и разносят неправду обо мне меж людей. И глаза мои видят будущие ваши беды от вашего маловерия. Видят глаза мои голод и болезни

детей ваших, проказу и струпья на грудях ваших жен... Псы завоюют меж кущей ваших, и в постель вашу заползет змея!

Но велик и многомилостив господь! Бог не хочет гибели своего народа, а хочет, чтоб он был праведен и умножился. И вот я стал перед богом там, на горе, и молил его: «Боже, — сказал я ему, — тысяча лет — миг перед тобою, и Вселенная — песчинка в деснице твоей. Не обращай гнева своего на сынов Израиля, а обрати еще раз слово милости на них. Прости им грехи и не оставь их среди этой огромной, страшной, ненасытной пустыни».

И господь, милостивый в тысячах, сказал мне: «Так оповести дому Иакова и так глаголи сынам израилевым: видели вы, что сделал я египтянам? Видели вы, как поднял я вас, словно на орлиных крыльях, и вел по пустыне до самого этого места? Почему же не переполняется сердце ваше страхом перед моею силой и почему вы не слушаете ни пророка моего, ни самого меня? Но смотри, Израиль! Велико мое долготерпение, и милости моей нет границ. Но и гнев мой без конца, и бойся накликать его на свою голову. Ныне даю вам закон! И ежели послушаетесь гласа моего и сбережете заповедь мою, как святыню, будете моими людьми, избранными из всех. И дам вам землю, текущую молоком и медом, и умножу вас, как морской песок, и повергну к ногам вашим всякого врага, ибо — моя земля, и все, что на ней, — мое. А не послушаетесь и теперь последнего моего слова — о, лучше бы вам и не родиться на свет! Разверзну землю под вашими шатрами и там истреблю вас земным огнем! Сдвину на вас гору, а небеса обращу в

пламя и расплавленный металл. Кто смеет стать против меня?..»

И ужаснулись все старейшины и почтенные мужи Израиля и единодушно решили за себя и за свои семьи и роды: «Сотворим все по слову господню и послушаемся всех велений его. Так и скажи богу своему и нашему...»

И снова пошел Моисей на гору — донести господу, что сказали и что решили его люди. И снова, счастливец, видел бога и взял у него закон и сошел к сонму. А сойдя, приказал всем очиститься, чтобы люди вымыли тело и одежду и умастили волосы, а мужья чтоб три дня не входили к женам. А на третий день чтобы встал Израиль утром и, не вкушая пищи, шел бы к горе и смиренно стал бы вокруг: ибо придет господь на гору показаться людям в славе своей.

И как живо помнится Авирону трепет, охвативший его, когда он двинулся с отцом и родными, и соседями, и со всем израильским сонмом к святой и страшной горе. Стали далеко, потому что Моисей не велел не только всходить на гору, но даже касаться ее подошвы.

— Слушайте, вы, — говорил он перед отходом. — Я снова иду на гору навстречу господу. А из вас чтобы ни один не пошел за мной, даже и не коснулся горы, иначе умрет, будет побит камнями либо поражен стрелою. И будь то мужчина или женщина или скотина какая — все равно не останется в живых.

И все со страхом посматривали на гору и друг на друга: не выступит ли кто-нибудь вперед, не коснется ли хоть тенью вон тех каменьев, с которых как будто уже начинается гора?

Было утро. На голом, чистом небе поднималось солнце, предвещая страшную жару. И небо и пустыня были так просторны, пусты, что казалось — крикни, и крик твой понесется в бесконечность, — и только гору, святую гору, окутывала тайна: вершина ее скрывалась за черной-черной тучей дыма, и так дивно и страшно было смотреть на черную тучу среди ярко-алых тонов пустыни.

Тысячи глаз смотрели, и тысячи сердец билось в ожидании великих божьих слов, великих божьих дел. Весь сонм стоял на ногах; древние старики оперлись на палки и ждали, подняв лица и моргая слезящимися глазами; крепкие мужи, неподвижно уставя головы, наморщили брови, разве изредка кто-нибудь погладит черную курчавую бороду; женщины иногда вскидывали со страхом глаза на тучу, а больше следили за детьми, как бы они, заигравшись, не отбежали да, боже сохрани, не коснулись бы горы. Матери помоложе, те и совсем не отпускали от себя детей, а держали их за руки или прикрывали полами одежды. И только чья-то собачонка вдруг выскочила из толпы и, пригнувшись, слонялась по предгорью.

— Смотрите, смотрите... Собака... — зашестело в толпе.

— Чья это?

— А я знаю?

— Умрет.

— Нет. Он сказал про скотину и про людей, а это пес.

И все шептались и ждали чего-то, но никто не прикрикнул и не отогнал пса от горы. А тот побегал-побегал, помахал хвостиком, потом стал

передними лапами на валун и, подняв голову, тоненько и неприятно завыл.

И в эту минуту неведомо откуда прилетел острый камень и ударил пса возле уха. Заскулив, собака закрутилась на одном месте, а кровь брызгала из раны и окропляла валун. Потом она упала, заскребла песок лапами, а еще немного погодя лежала уже неподвижно в красной луже, оскала зубы. Но о ней тут же все забыли, потому что произошло кое-что гораздо более страшное.

Туча над вершиной горы росла и росла, скоро дым окутал всю гору, закрывая солнце; и вдруг раздался громовой рев труб, словно тысяча их была за тучей и трубили в них гиганты. Страх охватил всех людей, мужчины упали на колени, женщины прижимали к себе детей, а в далеком стане завывали привязанные псы.

И все увидели, что Моисей бежит с горы, и кричит что-то, и машет руками, словно зовет. Высокий, старый, он бежал стремительно, как юноша, а длинные седые волосы развевались ореолом над его головою.

— Что он кричит? Кого он зовет? — зашумели в толпе, потому что за громом и звуками труб ничего нельзя было разобрать.

— Он нас зовет! Нас! — закричали передние.

— Нас зовет пред лицо бога!

— Пойдем! Пойдем увидеть господу сил!

— Не ходите! Не ходите! — кричали другие. — Мы не хотим умирать!

— Не может человек вынести взор бога, и сияние венца ослепляет смертного!

И еще страшнее взревели трубы, и загрохотал гром. Слава всеведущего предстала перед



Израилем, и сила всеильного показалась въявь.
И закричал народ:

— Не пойдем! Ты, Моисей, избранник божий, и тебе глагол его. Говори ты с ним, а мы с тобою.

И затихли громы и трубы. И Моисей закричал толпе:

— Велик господь, бог Израиля! Видели, как он страшен? Слышали глас труб небесных?

Но бойтесь услышать глас самого всевышнего! Бойтесь! Бойтесь! . . Бойтесь! . .

И снова взревели громы и трубы. Моисей снова побежал на гору, а люди, перепуганные, ошеломленные, в страхе закрывая головы полами одежд, бежали от горы и, только отбежав подалее, останавливались из любопытства.

И все видели, как Моисей смело вошел в черную тучу на вершину горы, и все слушали и понимали, что вот как настает молчание — это, значит, говорит Моисей, и его голоса не слышно, а как загремят громы и трубы — это господь покрывает медью свой голос. И все, охваченные ужасом, возвращались к своим кущам, но вместе со страхом рождалась радость: каждому приятно было знать, что его бог так силен, так могуществен.

III

А вернувшись с горы, Моисей принес с собой закон господа. Прежде не было закона. Принес и читал его старейшинам, и были там великие и мудрые слова:

«Не делайте себе богов из серебра и богов из золота не делайте, а сложите мне алтарь из земли и на нем приносите жертвы».

«Кто побьет отца своего или мать — умрет. Кто поносит отца своего или мать — умрет».

«И если дерутся двое мужчин, и поразят беременную, и нанесут вред ее младенцу — да будет око за око и зуб за зуб, рука за руку, язва за язву, вред за вред».

«И если вора изловят ночью и убьют — нет в этом убийства. Если же над ним взойдет солн-

це прежде, чем он умрет, — смерть и тому, кто убил его. . . »

«Не озлобляйте пришельца и не обижайте его, ибо душа его вам ведома — сами были пришельцами в Египте. И вдову и сирот не озлобляйте, ибо, если вы их обидите и они, застонав, возопят ко мне, — услышу их и разгневаюсь, и в ярости побью вас мечом. И станут жены ваши вдовами и дети ваши сиротами».

«Шесть лет засевай землю свою и собирай плоды, а на седьмое лето дай ей отдых. То же сделай и с виноградом и с маслинами».

И много еще всяких мудрых и святых слов. А под конец господь возгласил устами Моисея: «Слушай, Израиль! Вот посылаю ангела моего пред лицо твое, да охранит путь твой и введет в землю, которую я тебе уготовил. Слушай его и не ослушайся, ибо имя мое на нем. И если послушаешь и сделаешь все, как повелю, — буду врагом врагов твоих и воспротивлюсь противникам твоим. И благословлю твой хлеб, и твое вино, и твою воду, и отвращу от тебя недуг, и число дней твоих умножу. И устрашу все народы, мимо которых пройдешь, и обращу всех твоих противников в бегство».

И Моисей записал все эти божьи слова в большую книгу и объявил, что торжественно и всенародно прочитает их. Люди радовались предстоящему зрелищу и новой теме для бесконечных рассказов, и все были довольны.

Моисей велел соорудить у подножия горы большой каменный алтарь, а вокруг еще двенадцать поменьше, по числу колен израилевых. Алтари предстояло сооружать молодым, которым также приказано было собрать сухой травы,

хвороста, сухого навоза — вообще всего, что может гореть, на чем можно было бы жечь жертву богу.

Авирон был счастлив, что и он может приложить руки к святому делу, что в посвященных богу алтарях будет и его камень. И камень Авирона всякий раз был самый тяжелый, и охапка топлива в его руках самая большая; он ободрал кожу, собирая самый сухой хворост, дрожал от напряжения и был весь в поту.

Иные из молодых, пользуясь тем, что старшие не надзирали за их работой, разлеглись на солнце или бегали, гоняясь друг за другом, но Авирон пристыдил их.

— Что вы делаете? — сказал он. — Как вам не стыдно? Вы же служите делом своим богу! Ведь это он будет принимать жертву на этих камнях, и к его стопам подымется дым от хвороста, который мы носим. Или вы думаете, что божий алтарь можно соорудить шутками и ленью?

Юноши устыдились, ревностно взялись за дело, и двенадцать каменных алтарей словно выросли у подножия горы. По обе стороны от каждого лежали большие кучи сухого топлива. А возле главного алтаря высились его целые горы.

Еще задолго до полудня стали собираться люди, и вскоре они окружили место жертвоприношения большим полукольцом. Кто стоял, кто сидел, кто молчал, кто разглагольствовал, но все поглядывали на кущу Моисея. Она стояла на невысоком пригорке, и ее было видно со всех сторон. Ее окружали все семьдесят старейшин, они же и собирались приносить жертву.

Вот вокруг кущи Моисея зашевелились — должно быть, вышел и он. Так и есть! Он вышел, и видно, как несет в обеих руках книгу слов Еговы. Авирон от полноты душевной не устоял на месте — побежал; побежал навстречу Моисею, чтобы быть ближе к нему, чтобы отшвырнуть камень с его дороги. Он так любил его сейчас, так бесконечно любил!.. И бежал, сколько хватало сил, чтобы хоть бегом успокоить себя немного.

Степенно и размеренно шел Моисей, сомкнув уста. Старейшины пробовали заговорить с ним, но он не отвечал и был весь как каменное изваяние бога.

— Жаль, что божьи слова запечатлены на папирусе, — говорил один из семидесяти. — Почему ты не попросил бога написать заповеди на камне или на меди? Ведь папирус — это папирус, а не камень и не медь. То было бы на сотни лет...

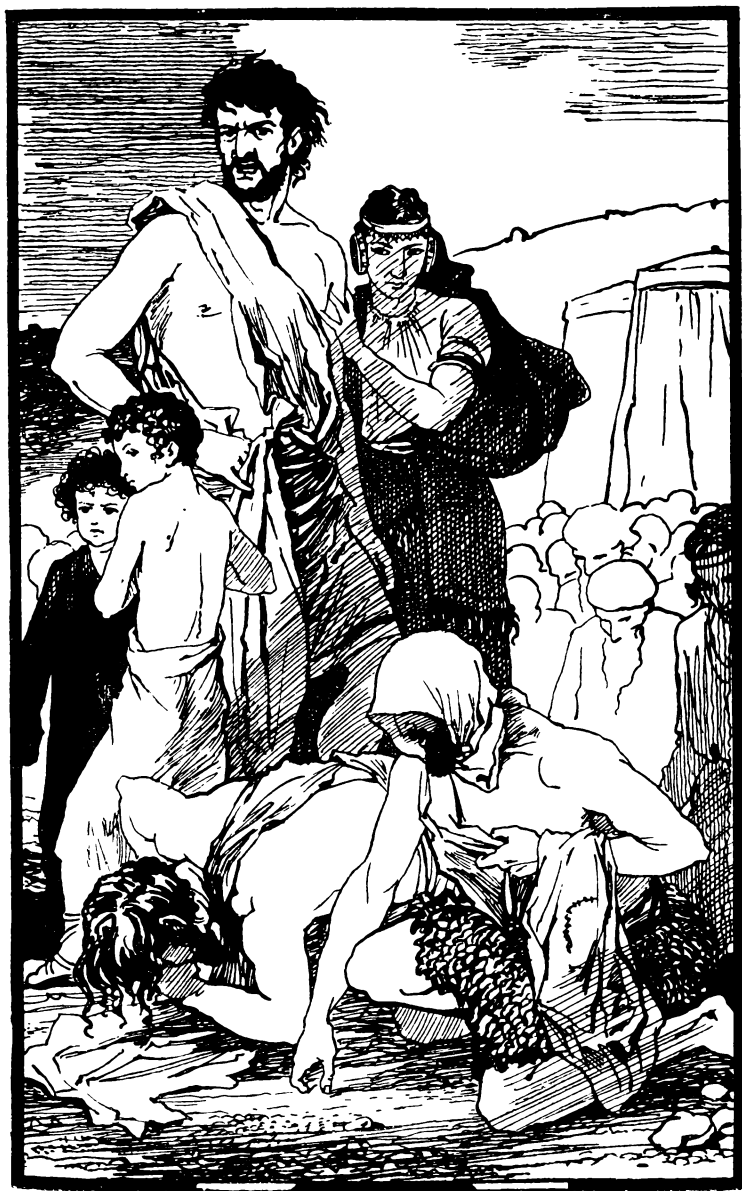
Моисея как будто поразили эти слова, он даже задержался на миг, или, быть может, это лишь показалось, потому что не шевельнул ни единым пальцем и ни слова не произнес в ответ. Старейшины, видя, что завязать беседу не удастся, замолчали и сами и дальше шли так же степенно, как и пророк. Да так и следовало — ведь на них были обращены все взгляды.

Вот и алтари. Народ широко расступился, пропуская своего пророка. Моисей подошел к главному жертвеннику и, упав на колени, стал громко молиться. Народ хотел повторять слова его молитвы, но, разумеется, не мог, и каждый молот обрывки фраз, которые доводилось слышать у соседа справа или у соседа слева.

В то время как все опустились на колени, безбожный Корей со своей женой и детьми стоял на ногах и громко хохотал над тем бредом, в который превращались слова Моисея, пройдя через тысячи ртов. Авирону все это приходилось слушать, потому что ему не удалось протиснуться вперед: со старейшинами идти было неловко, а как только они прошли, народ так напер, что юношу совсем оттерли в сторону. И он очутился неподалеку от Корей и вот теперь слышал весь этот глум и смех. Он хотел молиться искренно, однако эти шутки и насмешки убили в нем религиозный порыв, и он, как ни старался, не смог вновь сосредоточиться.

Да это и впрямь было трудно. Солнце мучительно припекало голову, а острые камни резали колени. Где-то там, впереди, возле Моисея, возможно, и совершалось что-то великое, святое, но здесь ничего не было ни видно, ни слышно, и пока святость доходила сюда, минуя тысячи людских тел, проходя через тысячи раскрытых от зноя ртов, от нее уже ровным счетом ничего не оставалось, и здесь она была уже только равнодушием и обязанностью, как и все это коленопреклонение.

И Авирон стал осматриваться вокруг, и в голове у него зашевелились разные посторонние мысли. Вон стоит на коленях толстый Иелиил, сложив руки на брюхе; его маленькие свинные глазки сонно прищурились, ища на земле наименее освещенный предмет, чтобы отдохнуть от слепящих лучей солнца. Хоть он и стоит в молитвенной позе, но сразу видно, что мысли его далеко, и Авирон даже знает где — в Египте. Иелиил был там десятским над своими же



земляками, сам не работал, а только приказывал; к тому же он прирабатывал тем, что резал людам скот, беря себе, по обычаю, лучшие части и продавая их кому хотел — своим или египтянам. И уж так неохота было ему оставлять Египет, страх как неохота! Но что он мог сделать против воли целого народа — пришлось уходить. И он ушел, но мысленно не перестает упрекать Моисея; и потому стал ближайшим приятелем безбожника Корея. И теперь улыбается жирными губами каждой его шутке и едва заметно кивает головой, хотя остаться стоять, как Корея, у него и не хватило смелости.

А вот Малехет. Она еще молода, но у нее так много детей, что выглядит уже старухой. Ей и помолиться некогда: то надо шить на детей, то родить следующего. Но она и не боится бога. «Ну что ж, — говорит, — он дал мне столько детей, что сам видит — когда же мне молиться?» И кажется, она права: дети ее — молитва ее.

А теперь стоит она на коленях, тонкая, как побег, и просто отдыхает, потому что даже не стоит, а села, прикрыв ноги. Ей так редко доводится посидеть спокойно, что она рада и этому случаю.

А где же Асха?

Где глаза, которые милы Авирону больше всех на свете? Где она стоит на коленях и какую молитву шепчут ее губы прямо господу в уши? О, как хотел бы Авирон опуститься на колени рядом с нею, и как молился бы он тогда, глядя хоть на ее тень!..

И от этого воспоминания в груди у него потеплело, и он забыл и Корея и боль в коленях и стал про себя молиться:

«Помоги мне, боже, жениться на Асхе, потому что я люблю ее. Я буду вставать до рассвета, чтобы принести воды и вымыть ей ноги, и ложиться поздно ночью, чтобы успеть сделать ее вечернюю работу. В праздник и в будень умашу ей драгоценным елеем волосы, сам с любовью вырежу ей сандалию и повяжу ремень на ее ноге. И первенца моего посвящу тебе, о Адонай, и десятого барана из стад своих сожгу пред тобою. Дай мне Асху, боже! Волею своей смягчи сердце отца ее и рукою своею преклони его желание...»

И после этой молитвы ему захотелось увидеть Асху, и он, воспользовавшись тем, что все уже поднялись с колен, тоже встал и пошел искать. Но долго слоняться в толпе было неловко: жертвоприношение, верно, уже началось, впереди показались дымы, а люди хотя и встали, но пребывали в молитвенном смирении. К тому же вместо Асхи Авирон наткнулся на своих, и отец, сурово зашипев, велел ему стать рядом.

Авирон не мог послушаться и стал возле брата Датана, хотя безнадежно утратил уже молитвенное рвение. Датан, сохраняя внешнюю набожность, то и дело улучал минутку, чтобы шепнуть брату что-нибудь ехидное, язвительное.

— Молчи... Прошу тебя, молчи, — тихо говорил Авирон брату.

Ему больно было слушать поношение пророка, высшего среди людей. А кроме того... это будило в душе его сомнения, а он не хотел их. Ему так уютно было в его вере, он так любил свой искренний пыл и свою молитву, что просто не хотелось выходить из этого душистого сада на полное пыли и смеха житейское торжище. Со-

мнение — ненасытный змей. Ему даешь руку — он хочет сердце, ему даешь день — он хочет жизнь.

Тут люди вдруг подняли крик и далеко, далеко по пустыне разнесся стоустый гомон, пугая одинокого орла на падали.

— Что? Что случилось? Чего кричат?.. — суетливо спрашивал Авирон.

— Разве я не так же знаю это, как ты? — отвечали ему.

Пока отец, заинтересованный происходящим, разинул рот и, приподнявшись на цыпочки, пытался хоть что-нибудь увидеть, Авирон потихоньку отошел и стал протискиваться вперед.

Молитва, должно быть, окончилась. Люди задвигались, они переходили с места на место, громко разговаривали. А когда Авирон добрался до первых рядов, он увидел, что там все были забрызганы кровью. Ярко-красные пятна словно ухмылялись на белой праздничной одежде и резали глаз в ослепительном сиянии солнечных лучей.

— Что здесь было? — расспрашивал Авирон.

— А где ж ты был?

— Я был здесь, только стоял далеко...

— Ну, было жертвоприношение...

— А почему на людях кровь?

Но с ним не хотели говорить, только отмахивались. Наконец нашелся охотник поболтать и рассказал в подробностях, как происходило жертвоприношение, как половину крови Моисей вылил на алтарь, а другой половиной окропил людей, говоря: «Это кровь завета, завещанная нам господом во всех словесах его...»

— А где же он сам? Где Моисей?

— Он взял с собою Аарона и Надава с Авидом и еще семьдесят старейшин и повел их на гору, показать, где стояли ноги самого господа бога.

— Страх!.. Какой страх! — качая головой, говорила рядом женщина. — А что, думаете, нет? — спрашивала она, хотя никто не возражал. — Как знать? Полыхнет огнем из-под земли, сожжет — и все.

— Боги все сердитые, — подхватывала другая. — Я видала раз в Египте, как вырвался Апис. Так что вы думаете — мало он изувечил народа? Ого!

И женщины принялись вспоминать всякие ужасы, но Авирон их не слушал. Мысленно он был с теми семьюдесятью, которые пошли на место единения бога с землей. О, если бы Авирону довелось побывать там! Он облил бы слезами каждый камень, он день и ночь лежал бы возле того места и не мешал бы скорпионам ползать по лицу и груди, только бы смотреть и смотреть и упиваться без конца одной мыслью — он был здесь! Он, Адонай!..

И у юноши даже мелькнуло желание: завтра утром, когда весь стан еще будет спать, побежать вприпрыжку, как молодой олень, и самому найти то место. Его легко узнать: верно, оно светится, как солнце, и вокруг него расцвели неземные цветы, а все живое, что есть на горе, стоит и смотрит и говорит: «Он был здесь! Он, Адонай».

Но затем юноша вспомнил, что Моисей не велел приближаться к горе под страхом казни и что вообще это грех. Да и оставит ли еще господь это священное место открытым? Может

быть, выжжет невидимым огнем и повелит вырасти там за ночь густому терновнику или положит большой камень. Нет! Нет!.. Нечего даже и думать...

И он вздохнул. Ему стало жаль себя — столько прожил, а так и не видел ничего необычайного. И почему он не протиснулся вперед раньше? Может быть, попросил бы хорошенько Моисея, и святой пророк взял бы и его вместе с теми семьюдесятью.

А вокруг гудел иудейский стан. Люди были рады, что молитва окончилась и можно свободно двигаться, говорить, размахивать руками, и вознаграждали себя за долгое стояние на коленях. Беседы были жаркие и велись на сотни тем; каждому хотелось что-то сказать. Одни судили-пересуживали соседей; другие высказывали сомнение, вернутся ли старейшины живыми, не ослепнут ли по крайней мере; третьи обменивались впечатлениями об увиденном и пережитом. Какой-то приземистый человек с рыжей бородой резко говорил:

— Так-так! Это все хорошо, то, что вы говорите, но у нас и без того очень поубавилось скота, а тут еще давай, и давай, и давай на жертвы! А какая мне от того польза? Так я сам съел бы этого барана, а кости отдал бы своей собаке, а так его съедят жрецы и прислужники. А тебе, за то что кормил, берег, запасал, и хвоста не достанется! И я спрашиваю вас: что в этом хорошего?

— Грех так говорить, — предостерегал другой. — Грех и срам. Это жертва богу, а не людям.

— Ну хорошо — богу. Но зачем же богу не-

пременно мясо? Почему он не хочет чего-нибудь другого? А потому, что левиты мясо любят.

— Прикуси язык, добрый человек! Да мы никогда и не видели этого мяса. Ты бы хоть о том подумал: хватит ли нескольких ваших баранов на стольких слуг божиих?

Это вмешался невесть откуда взявшийся здесь левит. За последнее время их вообще стало повсюду полно: где бы ни собралась кучка людей, где бы ни завязался разговор, глянь — левит уже тут как тут, стоит, слушает, ввязывается в беседу. Но эта обязанность их службы была так нова, что люди забывали о ней и принимали их за таких же, как и все остальные иудеи: один был из колена Иудина, другие — из Ицгарова, а эти — из Левиина, вот и все.

Но теперь рыжий почему-то с неприкрытой враждебностью посмотрел на левита и буркнул:

— Поди донеси Моисею...

— Я не доносчик, да и доносить тут не о чем, а вот у тебя куща, верно, неподалеку от кущи Корея, его словами говоришь.

И левит, замкнувшись в броню равнодушной неприступности, отошел прочь и приблизился к другой кучке. Тут низенький, толстый, но подвижной иудей критиковал простоту жертвоприношений и вообще обрядности.

— Ну что это такое? — говорил он, жестикулируя. — Сегодня взяли барана, разрубили на части, кое-что сожгли, кое-что съели; завтра взяли другого, разрубили его немного иначе и опять кое-что сожгли, а кое-что съели. И все происходит тут же, на глазах у всех, без всякой торжественности, без всякой тайны. Ну что это за обряд? Я люблю так молиться, чтобы по спи-

не бегали мурашки, чтобы было что послушать, что повидать. Тогда человек и молится иначе, и мысли у него становятся другие, и сам он больше привязывается к богу. Вон у египтян! Да разве можно с нами сравнить? Какие у них храмы, ай-ай-ай!.. Целый день будешь ходить да так и заблудишься среди тысяч и тысяч колонн. А туда, где жрецы делают свое дело, туда разве ты можешь не то что проникнуть, а хоть глянуть одним глазком? А ну, хотел бы я посмотреть, кто посмеет?! Так бы и сдох на месте! А как выйдет процессия — жрецы все в золоте, а опалахла блестят драгоценными камнями, а боги в цветах, а музыка, а песни — и-и-и!.. Вот тут уж молятся так, что кожа лопается, а глаза лезут на лоб. А у нас? Пхе! — И он презрительно выпятил губы.

— Но откуда же нам взять такой храм, как у египтян? Ведь мы сегодня тут, а завтра где?..

— А я разве говорю — именно такой? Разве я так, именно так сказал? Мне не надо такой, но пусть мне дадут бога, чтобы я его видел, чтобы мог поцеловать, дотронуться рукой. А то разве я видел своего бога? Или ты, или он, он — да хоть кто-нибудь? А ну, выйди вперед, кто видел бога?

Иудей говорил громко и сильно размахивал руками.

— Моисей видел, — робко ответил кто-то.

— Моисей! — живо подхватил низенький. — А что у меня прибавилось оттого, что Моисей видел? Кто видел, тот пусть и верит, а я не видел, так и... не... — Он остановился и быстро обвел всех своими лисьими глазками, но сразу же взял прежний тон: — Ну, я могу верить, а

могу и нет. Я-то верю, почему же, но... но разве все такие, как я? Есть и такие, что не верят.

— И ты с ними, — бросил кто-то из толпы.

Черненький испугался и стал клясться, что он всегда давал на жертву и что его никто не может упрекнуть, но его мало кто слушал. А левит, казалось, и совсем не слышал, о чем шла речь, — он стоял, отвернувшись, и пристально смотрел на гору. Разговор больше не клеился, и все разошлись в разные стороны, присоединяясь к другим группам.

Между тем солнце уже не на шутку припекало. Люди забеспокоились, всем хотелось есть. Высказывались более крикливо и менее связно; каждый требовал, чтобы его сразу выслушали и чтобы слушали его одного. То одна, то другая мать, вопя, словно пришел ее последний час, задирала на ребенке рубашку и давала несколько звонких шлепков; а те, что были помоложе, отдавая детей в сторону, словно за делом, и, прикрывая своей одеждой, украдкой вынимали из-за пазухи сыр и совали детям в рот, приказывая есть поскорее. Но ребенок, наевшись, похвалялся перед товарищами, те бежали к своим матерям и сыпали укоры, как из мешка: все едят, а мы... всем детям матери дают, а нам... и так далее. И между матерями разгорался спор: одна укоряла другую грехом и пугала божией карой, а другая оправдывалась, что она сама — боже сохрани! — даже и не подумала есть, только чуточку, совсем чуточку дала ребенку, а с детей даже бог не спросит строго: ведь они же такие еще глупые. Разве они понимают, что такое пост?

И всем очень надоело стоять; даже у перед-

них, которые все видели и слышали и были охвачены религиозным экстазом, даже у них полуденное солнце уже все выпарило и осталось только ощущение тяжелой усталости. И потому можно себе представить, как все обрадовались, когда вдруг увидели своих вождей, спускавшихся с горы. Все необычайно оживились, забыли и про зной, и про голод и, крича, стали протискиваться к тому месту, куда должны были сойти старейшины: каждому хотелось посмотреть на людей, которые за минуту перед тем видели следы стоп господних и, может быть, даже целовали их.

А кучка старцев с Моисеем во главе медленно и торжественно шла, окруженная радостно рукоплещущим Израилем, и отвечала на вопросы. Все были целы и невредимы, ни один волос не упал ни с чьей головы; только глаза их горели от счастья, а губы сами говорили, подбирая самые лучшие, самые сокровенные слова. На этот раз Авирон уже протиснулся в первый ряд и слышал все от слова до слова.

Восторг был полный! Старики видели то, чего не доводилось никому из них видеть за всю жизнь.

Место, где стояли ноги господя, было, как бы это сказать... как камень сапфир, только где там!.. Разве бывает камень сапфир таким светлым, таким сияющим, таким лучистым, как солнце, и таким прозрачным, как само ясное небо?.. Нет, это нечто иное, неземное, такие камни могут быть только на небесах!

А вокруг все выжжено! Такой большой круг, и в нем все черно, как гнев божий, и Моисей говорит, что так было бы со всяким, кто прибли-

зился бы к месту тому без божьего соизволения. О славен господь! И славен Моисей, наш великий пророк! Он, один он может говорить с богом — и остаться в живых!

А Моисей стоял в стороне и молчал. Лицо у него было строгое, и только глаза горели таким огнем, что пророк и впрямь казался сам богом.

И все люди были довольны, и вернулись к кушам, и ели, и пили, и славили господа и его пророка, а своего верховного вождя — Моисея.

IV

А потом случилось это...

Моисей снова пошел на гору, к богу, взяв с собою молодого Иисуса, сына Навина. Уходя, он не сказал, сколько времени пробудет на горе, когда его ждать; просто оставил за себя Аарона и ушел.

И все видели, как он вошел в темную тучу, которая все еще окутывала вершину горы, и все были спокойны: в самом деле, что из того, что вождь оставляет свой народ на несколько дней? Всего на несколько дней.

Но прошло три дня, пять, семь, а Моисея не было. Чем это можно было объяснить? Люди гадали по-всякому и вообще много, может быть, даже слишком много говорили об этом; скажет кто-нибудь неразумное слово, о котором минуту спустя и сам забудет, а оно уже, глядишь, полетело по сонму, вырастая, как снежный ком, и тревожа умы. И в конце концов случилось так, что народ заволновался, и все пришло в замеша-



тельство... Встанут поутру соседи, первый вопрос: не вернулся? Женщины собирались у источника и, набрав воды, забывали, что солнце согревает ее, что дома нет ни капельки, и тараторили, тараторили без конца всё об одном. Они нарочно ходили по воду как можно дальше, чтобы увидеть еще и других женщин, чтобы услышать, что говорят там, на другом конце стана. И после каждой из этих утренних и вечерних встреч по сонму разматывался новый клубок вестей, запутывая даже светлые умы и вливая отраву сомнений даже в крепкие души. словно ту воду, которую приносили женщины, выливали они вместе со всеми свежими вестями в камень веры мужей, и расщелина сомнений росла, и камень растрескивался и рассыпался прахом.

А там забеспокоились уже и мужчины. Их недоверчивость и сомнение были не так подвижны и живы, не перелетали десять раз на день от одних ворот стана к другим, но тем крепче укоренялись они в головах и сидели там, как камни пустыни в своих гнездах. И немногочисленны были эти сомнения, не расцвечивались они таки-



ми разнообразными, пестрыми красками, но, раз зародившись, уже не переставая неуклонно росли, как хорошо откормленный бык. И вечерняя беседа мужчин была хмурой и долгой; женщины приближались к собеседникам, но их прогоняли: не больно-то приятно мужу выставлять свои сомнения перед женой. И все-таки женщины продолжали лезть, хотя, в сущности, могли бы и вовсе этого не делать: ведь каждая из них была уверена, что обо всем узнает у мужа ночью. Да ведь то ночью: и женщины крутились поблизости, ввязывались в разговоры, не оставляя мужьям даже и этих нескольких часов.

Хорошо, но что же думает обо всем этом Аарон, заместивший Моисея? Можно ли представить себе, что он ничего этого не видит, не слышит? Да как же он позволяет нарастать волнению среди людей? Ужели он не знает, что из такого семени всегда произрастает горький плод?.. Нет, он, верно, видит все, только что он может? И в конце концов кто его послушает? Когда могучий вождь удаляется и ставит на свое место другого, все тотчас же принимаются срав-

нивать и убеждаются, что тот, новый, даже и не напоминает вождя, хотя бы просто потому, что никто и не может быть у вождя преемником. А убедившись, впадают в лень и непослушание, словно давая себе перевести дух.

Так было и с Аароном, только в еще большей степени, ибо он был человек мягкий, добросердечный и ласковый, но бесхарактерный и безвольный. Мог ли он своими робкими руками держать народ в узде? Да еще какой народ — Израиля, который боролся с самим богом и уже не раз, не два топтал его заповедь. Перед Моисеем дрожали, и ему не приходилось даже говорить, а уж если он говорил, все были уверены, что слово его неколебимо, и никому в голову не приходило ослушаться. На что уж Корей и тот ни разу не посмел воспротивиться открыто — высмеивал украдкой, критиковал, но исполнял каждое повеление. А что не опустился на колени вместе со всеми, так ведь он стоял далеко позади; очутись он в первых рядах, вблизи Моисея, стал бы на колени, как и все, и не пикнул бы!

Совсем другое дело Аарон. Грустно было смотреть на его «верховный суд». К Моисею приходили, трепеща, бледные; говорили мало, и только дело; лгущий невольно запинаясь, сбивался, и сразу было видно, кто прав, а кто нет. А когда Моисей после минутного размышления произносил свой суд, тяжущиеся отходили с глубокими поклонами, покорясь приговору, каков бы он ни был. А перед Аароном вели себя, как перед всяким другим старейшиной: кричали, ссорились, даже дрались перед ним. Один клянется страшной клятвой, что он прав, а виноват

другой, а тот еще более страшной клятвой подтверждает противное. Аарон слушает их, робко пытается утихомирить, а когда, наконец, гвалт прекращается и начинается суд, Аарон, словно боясь обидеть и того и другого истца, выносит приговор, которым остаются недовольны обе стороны, и они расходятся еще большими врагами, чем были.

А в последние дни Аарон под бременем своих обязанностей и вовсе потерял голову. Люди словно ошалели. Среди них распространялась весть — измышление преступного разума, — будто Моисей давно умер, пропал там, на горе, а стало быть, и весь сонм, тысячи мужчин, женщин, детей остались здесь, среди пустыни, не зная пути вперед и позабыв путь назад. Теперь только стало им ясно, каким безумством был их поход и какая сила был Моисей. Это же он один вел все эти тысячи по безвестной жадной пустыне, умея добывать воду и находить путь. Никто не спрашивал его, знает ли он дорогу в ту неведомую обетованную землю или, так же как все, идет наобум, куда глаза глядят. Никому даже на ум не взбрело спросить себя: а по каким же признакам узнаёт Израиль обещанную землю? Вот придут куда-то, Моисей скажет: «Да! Сюда я вел вас, эту землю обещал нам господь». И что же, так это и будет? И он не заблудится и не заведет их в какой-нибудь иной край?

Словом, сомнений не было, и тревога спала. На могучей горе — на груди Моисея — устроился покой народа. А вот теперь, как заколебалась она, как, быть может, и вовсе не стало ее, — теперь сомнения вышли на поверхность. Вышли вдруг сразу все — и пропал покой. Тыся-

чи вопросов осаждали голову, неуверенность свила гнездо в груди Израиля и вывела птенцов, имя которым — страх. И эти чудовищные ночные птицы разлетелись по стану, залетели в каждую кушу, смутили спокойствие домашнего очага. Весь стан израильский наполнился шумом их крыльев, смешанным с гомоном встревоженных, ошалевших людей.

— А ты думаешь, Моисей кто? Может быть, ты думаешь, что в жилах его не течет кровь и что тело его не боится оспы?

— Правда, правда! Он такой же человек, как мы все, и также может умереть каждую минуту.

— А может быть, и умер уже, — всякий раз прибавлял незнакомый голос и замолкал.

Все долго искали глазами, кто это сказал, но ни разу не смогли найти, ибо это говорил каждый в душе своей. И от слов этого невидимки всякий раз становилось страшно, хотя он, в сущности, ничего нового не сказал. Но, раз ступив на стезю ужаса, люди уже боялись даже свернуть с нее и рисовали себе самые невероятные случайности, которые могли ожидать Моисея там, на горе. Кто-нибудь пытался неудачно и неуклюже защищаться:

— Не может этого быть... Ведь если он говорил с самим богом...

— Так тем хуже! То-то и дело, что тем хуже! — восклицал другой, чуть ли не радуясь своему страху.

— Еще бы! Вот я тебе скажу: знал я в Египте одного чужеземца, который умел говорить со львами. И никогда их не боялся, ходил на место, где они ели, даже выдирал у них пищу из пасти, спал с ними в их логовах. И что же? Все равно

кончилось тем, что львы разорвали его. Изю всех слов, которые он знал, позабыл он только одно, маленькое...

— Так, так... Кто бесперечь лазит на высокое дерево, непременно сорвется с него, когда от старости либо от усталости ослабнут руки...

Солнце закатывалось в крови, и этот яркий жестокий свет еще больше дразнил людские помыслы, подталкивал людей на край бездны. Говорили о самом страшном, и то, что говорили о самом страшном, придавало всем боязливой отваги, делало людей дерзкими, способными посягнуть на покров божьей тайны, кощунственно сорвать его на глазах у всех. А потом снова смотрели на закат, предчувствуя, что вот скоро, сейчас настанет ночь, и тогда беседы станут еще страшнее и голос еще сильнее задрожит.

— Почему все люди видят своих богов? — нарочито громко говорила высокая иудейка. У нее был большой рот, и это свидетельствовало о сильной, решительной натуре. — Почему все люди видели своих богов и только мы нет? — подымала она голос еще выше; волосы выбились у нее из-под покрывала и мотались по лицу. — Я повидала кое-что на своем веку и знаю: у всех людей должны быть свои боги и у всех они есть. Говорят нам, что и у нас есть, но где? Где он? Покажите мне его! Я видела Озириса, я видела бога Пта, я видела Изиду под черным ее покровом, но я никогда не видела Еговы. Нам говорит Моисей, будто он видал...

— Нет, он никогда этого не говорил! — перебил кто-то.

— Как не говорил? Говорил! Я сам слышал! И не раз!

— Не мог ты слышать, потому что он не говорил этого никогда.

Начинался спор, которому каждый был рад, потому что это хоть на минуту отвлекало от страшной темы. Поднимался шум, после которого никто уже не мог сказать наверное: говорил Моисей, будто видел бога, или нет.

— Но что мне с того, что он видел? Я-то не видел!

— И где он, тот, что видел?

— Может, уже и кости его белеют там, среди камней... А мы сбились здесь, как отара, и ждем.

— Завел нас в пустыню и бросил. Куда нам теперь?

— Он нас вел. Он хвалил ту землю, которой мы не знаем. О, зачем мы послушались его и вышли из Египта? Не лучше ли было трудиться нам на египтян, чем умирать страшной смертью здесь, в песках? Где наш путь и где надежда наша? Мы не знаем, что будем есть завтра. В Египте мы горько трудились, но сидели над горшками, полными мяса, и хлебов у нас было досыта, а тут голодная смерть угрожает нам и нашим детям. Он ушел, он пропал, он умер там, и бог его нас оставил. И нет у нас теперь бога, и некому вести нас. Почему у всех людей есть бог и только у нас не было его никогда? Сделаем же себе бога! Поклонимся ему! Пусть он ведет нас куда хочет, мы пойдем за ним.

И напрасно рассудительные и богобоязливые силились успокоить народ, угрожали, предостерегали. Ничто не помогало. Людей охватил ужас. Они чувствовали себя так, словно вдруг повисли над бездной и цепляются за острые

камни. И в криках людей слышалась тревога, и движения их были скованы страхом, и голоса их поражали беспокойством, и горестен был плач их жен. Казалось, если не найдут они себе бога тотчас же, сию минуту, все обезумеют, потому что ведь тогда все пропало, всюду смерть... И наступала ночь, и не приносила никому покоя. Она долго тянулась, потом кончалась, и снова наступал день, еще более знойный, еще более тревожный; солнце распяляло сердца...

И среди всех этих толп полуобезумевших людей одиноко и сиротливо толкался один — Авирон, и душа у него разрывалась на части. Падала слава Моисея! Падала вера! Рушился божий чертог!

— Да приди же ты, наконец, приди, пророк! — со стоном простирал он руки и порывался бежать туда, на гору, в ту страшную черную тучу, которая все не оставляла ее.

Найти там Моисея, рассказать ему, что все гибнет, чтобы вернулся он, строитель, и вновь связал своим словом своевольных одиночек. Ведь уже снова восстал Израиль на бога и заменил глас молитвы воплем бесноватого. И оскверняет святыню и путем господя небрежёт. Вернись, праведник! Ты один можешь умолить предвечного и отвести карающую десницу. Вернись!

Но что мог сделать он, мальчик? Да и захочет ли Моисей заговорить с ним, если бы даже удалось его там найти? Поверит ли? И не испепелит ли гора дерзновенного, не убьет ли его камень, как того пса?.. И Авирон только окроплял крик своей души слезами.

А однажды людей словно прорвало.

Все проснулись рано, точно с готовым уже решением. Не сговариваясь и не советуясь, сошлись большой гурьбой и, наполнив воздух криками, двинулись к куще Аарона. Движения их были дики, и лица их были лицами тех, кто топчет имя бога. Словно криком и сверканием глаз хотели они подавить укору совести, словно хотели забыться в вихре безудержных жестов и безумных слов.

И толпа шла и по дороге разрасталась; женщины и дети выбегали вперед. Лучше всего было детям: они носились среди кущей, подымая такую пыль, что ничего не было видно, подхватывали обрывки речей старших и выкрикивали их, как непреложные истины; а взрослые, слыша свои мысли, повторенные в воздухе тысячи раз, исполнялись уверенности, что и в самом деле произнесли великие слова. И обе стороны были довольны.

Вот и куща Аарона. Толпа стала, и крик окреп, перешел в неистовство, само порождающее потребность в крике. Тот, кого Моисей оставил за себя, вышел бледный, дрожащий и долго не мог произнести ни слова, оглушенный толпой.

И только когда она затихла, заговорил, но слова его были такие простые, такие... обыденные! О, разве так сказал бы Моисей?

— Чего хочет от меня Израиль? — Это, только это произнес Аарон. Голос его дрожал и рука нервно комкала бороду.

Диким воплем ответила госпожа толпа, пра-

зднуя свою силу и смирение предводителя. Ничего нельзя было разобрать.

Аарон просил, чтобы кто-нибудь один или хоть несколько вышли вперед и высказали волю народа, но ничто не помогало — говорили все разом. И размахивали палками перед самым лицом Аарона, и женщины кричали ему прямо в уши:

— Сделай нам бога! Довольно обманывать! Мы хотим иметь бога, как все люди!

А другие вопили еще громче:

— Где твой Моисей? Где этот златоуст, который наврал нам с три короба о какой-то там земле? Дай нам его, мы разорвем его тут на куски и кровью его напоим песок пустыни, может, хоть этим умиловим здешних богов, и они не уморят нас здесь голодом и жаждой и не убьют вражескими стрелами.

— Да он уже сдох, тот Моисей, там, на горе! — кричали третьи. — Думаешь, мы не знаем?

— Ты здесь вместо него! Так давай нам бога, а то мы убьем тебя вместо брата!

И Аарон испугался. Он и сам теперь сомневался в душе: а что, если Моисей и впрямь погиб? Вот уже скоро полтора месяца, как брат ушел, — и ни слуху ни духу. И Аарон вообразил себя во главе этого дикого, своевольного народа, и душа его затрепетала: «Что я сделаю с ними, с этими людьми, упрямыми, как быки? Дурно поступил брат, именно меня поставив здесь...»

Беспомощный, робкий Аарон готов был безропотно отдать тяжкое бремя власти над Израилем, знать бы только кому. Вот и теперь: он и не пытался защищать закон, установленный бра-

том, и не посягал обуздать народ, потому что сам понимал — ничего из этого не выйдет. Он только просил женщин отдать свои серьги и кольца и все украшения, чтобы сделать из них бога: наивный старик думал, что женщинам станет жаль драгоценностей и они возопят и сдержат своих мужей.

Но Аарон не умел оценить того, что называется человеческой одержимостью. Стоило только сказать ему о золоте, как женщины стали срывать с себя все, что было на них золотого, а мужчины следом за ними побросали в кучу свои шейные обручи, нагрудники и пояса с золотыми бляхами; те, у кого не было при себе золота, побежали к кущам за спрятанным в тайниках; и не прошло и двух часов, как перед кущей Аарона собралась большая груда всевозможных золотых украшений.

И Аарон увидел решимость Израиля и смелость, с которой народ порывал с законом Моисея. Он еще пытался оттянуть время, говорил, что вот, мол, надо сделать большие приготовления, что придется долго лепить форму, составлять разные порошки и прочее, — словом, что все это не так просто, как иные себе представляют. Но толпа вытолкнула вперед старого и прославленного мастера Веселиила и понуждала его взяться за работу.

— Этот сделает быстро!

— Ого! Да еще как!.. К нему и египтяне шли, когда надо было отливать богов.

— Эй ты, старый пьянчужка! А ну покажи Аарону, на что ты способен!

Веселиилу пришлось громко при всех дать согласие, и только после того, как он заверил,

что бог будет готов завтра, самое позднее послезавтра, люди успокоились и с песнями и криками радости разошлись по кущам.

— Вот теперь и у нас будет свой настоящий бог.

— Пусть ведет нас дальше, до каких пор нам здесь стоять?

— Зачем дальше? Пусть лучше вернет нас в Египет.

... И Авирон слышал это и ломал руки...

А на следующий вечер бог, в образе тельца, был готов. Нетерпеливый Израиль носил дрова, жарко накалял печи, и золотой теленок был отлит скорее благодаря энергии народа, чем благодаря искусству мастеров. И люди даже не дождались, пока он застынет, и разбили форму, когда он еще чуть держался и был так горяч, что одна женщина, желавшая в безумстве поцеловать его, обожгла себе рот и с воем бегала потом по пустыне. А люди смеялись над нею довольным смехом обретших и радовались, что бог у них такой сердитый.

— Вот бог так бог! — кричал народ. — Это он вывел нас из Египта, а не Моисей!

— Так, так, — кивали головами старые иудеи, — бог и должен быть теленком: ведь это самое благородное животное.

— А я сказал бы даже... что он должен быть... бараном, ибо что человек без баранов и овец?

И взяли большой-большой камень со святой горы, к которой, по крайней мере к подножию, никто уже не боялся приблизиться, и поставили высоко на пригорке; Аарону же велели соорудить перед богом алтарь и принести на нем жер-

тву всесожжения и спасения. И только потому, что уже настала ночь, отложили праздник на завтра и разошлись, радостные, по своим шатрам.

А те, кто остался верен заветам Моисея, даже не выходили из кущ; то были левиты и некоторые роды других колен.

VI

И настал сороковой день.

Тридцать девять дней и столько же ночей минуло с тех пор, как туча укрыла тьмою своею Моисея на вершине горы. О, если бы люди знали, если бы хоть один из них знал, что именно сегодня придет Моисей, не было бы тельца, не было бы греха перед невидимым богом, не разразилась бы великая немилостивая кара его. Но никто этого не знал, и утром все собрались принести жертву перед фигурой нового бога. Женщины убрались в самое дорогое, лица мужчин сияли радостью, и волосы детей были щедро умащены елеем.

Жертву приносил Аарон. Он все делал, как Моисей, и людям было приятно, что обряд отправляется не перед пустым местом, а перед настоящим богом, которого можно видеть и трогать, не опасаясь кары. Души их отдыхали от страха, который нагонял на них Моисей именем своего невидимого бога и таинственностью своего лица. И радость их была истинна, и веселье безыскусно, и песни свободны: всем сердцем ощущали они, что в самом деле поклоняются своему богу, которому потомки их будут служить до скончания веков.

И все, и мужчины и женщины, взялись за руки и принялись быстро кружиться вокруг бога и петь ему. А те, кто не попал в круг, тоже кричали веселые слова, и хлопали в ладоши, и били в горшки, и трубили в трубы. И в сонме поднялся такой крик, что можно было подумать, будто снова внезапно напал на стан проклятый Амалик и это раздается предсмертный вопль недорезанных. А когда неистовство достигло наивысшего напряжения, и все носились как безумные, и крик перешел в звериный вой, вдруг...

С толпою что-то случилось.

Еще один вопль, на этот раз столь единодушный, что казалось, вырвался он из одной груди, будто завопила сама пустыня, прервал дикую оргию. Все упали на колени, и все глаза устремились в одну точку... С горы спускался Моисей.

В руках у него были какие-то тесаные камни, а вокруг головы словно свет сиял. Увидав издалека тельца и танец Израиля, он побежал с горы, как молодой. Вихрем свистящим, бурей пронесся он сквозь замершую толпу и стал перед тельцом...

И с минуту он постоял так, с дико вытаращенными глазами, а потом выкрикнул страшное проклятье, поднял свои тесаные камни и швырнул изо всех сил на землю. И скрижали разлетелись на куски, а Моисей топтал их ногами и кричал, страшно кричал, обрывая седые волосы:

— О, что же ты наделал, Израиль? Люди, зачем прогневили вы бога мщения?! Он же поразит вас, поразит страшно, и на детей ваших до девятого колена наложит руку свою! О, Израиль, Израиль, что ты наделал!...

И потом закричал на брата, брызгая слюной:

— Ты!.. Ты, старый дурак! Что сделали тебе эти люди, за что ты ввел их в величайший грех? Как же ты смел забыть мое слово и слово нашего господина, старый недоумок?!

Аарон бессильно оправдывался:

— Ты же знаешь этих людей... Мог ли я им противиться, когда они пришли всем сонмом и принялись кричать: «Сделай нам бога! Сделай нам бога, чтобы шел впереди нас! Почему у всех людей такие боги, которых можно видеть, и только нам некому поклоняться?» И грозились убить меня, и уже подступали ко мне...

Но Моисей не дослушал...

Он вдруг взвыл по-звериному и побежал к своей куше, крича на бегу какие-то непонятные слова. И всех охватил ужас: страшно было смотреть, как бежит перед ними и воет высокий седой старик. Все словно вросло в землю.

А Моисей вбежал в свою кушу, и схватил там воинскую трубу; и выбежал, и затрубил. И кричал не своим, страшным голосом:

— Кто господин, ко мне! Кто остался верен господину, ко мне! — и снова трубил, напрягшись, в боевую трубу.

И слыша голос войны, к нему стали собираться верные, подпоясываясь на бегу мечами. И прибежали левиты и верные из других колен. И Авирон опоясался мечом. И еще, и еще, и еще сбегались вооруженные люди, а Моисей все трубил и трубил, пока все пространство вокруг его куши не покрылось сияющими мечами и возбужденными людьми. То, что они остались верными среди такого разброда, наполняло их грудь гордостью и решимостью, а сердца их тревожно би-

лись, предчувствуя, что предстоит великая жертва богу, и мечам не напрасно висеть на поясе, и мышцам отдыха не будет. А при взгляде на разъяренного, растрепанного, неистовствующего Моисея им передавалось то, чем горела душа пророка, и тогда, о, тогда буря подымалась в груди, росла в них неосознанная ненависть, и они криками подзадоривали один другого.

А Моисей вдруг бросил трубу оземь, вскочил на камень и крикнул, да таким нечеловеческим голосом, что у тех, кто стоял поблизости, задрожали ноги:

— Господь! . . . Се глаголет вам господь, бог Израиля! . . . Горе вам! . . . Горе вам! Руку мою подыму на вас и развею вас, как песок, и хлеб печали дам вам и воду тоски. Се глаголет вам господь: крепко подпояшьте мечи и пройдите сквозь стан от одних ворот до других. И убейте каждый брата своего, каждый ближнего своего и каждый соседа своего!

И началось что-то страшное. . .

Как дикие звери, которые, пьянея от крови, теряют разум, бросились левиты на своих братьев. Забыли сыны Левия, что перед ними не враг, а родной Израиль, с которым они вчера пили и ели. Забыли, что здесь те, кого они почитали, любили, у кого спрашивали совета. Всё забыли левиты. То, что Моисей заметно отделял их от других, то, что их выбирал он всегда для жертвоприношений, давая им ощутить вкус власти, — все это уже отделило их тонкой, едва заметной перегородкой, они чувствовали себя чем-то высшим, чуждым всему. И потому теперь забыли сердце в груди, забыли, что и они такие же иудеи, как и убегаящие от них, и били, и ру-

били, и резали, словно ворвались в дом давнего заклятого врага и мстят за поругание своей невесты. Какая-то таинственная и страшная сила влекла их вперед, и они без размышлений, не колеблясь покорялись ей, помня лишь одно — надо пройти до ворот и вернуться назад, убивая.

И они убивали. . . Гонялись за убежавшими; разрубали головы тем, кто, став на колени, молил о пощаде. Если мать заслоняла собою ребенка, убивали и мать и ребенка; если мать с воплями отчаяния простирала к ним на руках младенца, убивали и младенца и мать. Мальчик тормозил труп отца — меч рассекал мальчика; две девочки жались одна к другой — обе умирали. И не было здесь людей, а только мечи и жертвы. И Авирон, молодой, чуткий, с нежной душой, тоже бежал в толпе сынов Левия и оросил свой меч кровью. Он ничего не помнил, бежал в кровавом, тошном забытии, и даже имя, дорогое имя Асхи ни разу не пришло ему на память. Исчезло сознание, исчезла душа, остался только инстинкт, дикий, обнаженный, загипнотизированный инстинкт.

И только потом уже, когда все они, убийцы, запыхавшиеся, забрызганные человеческой кровью, с блуждающими пьяными глазами вернулись к шатру Моисея и тот благодарил их от имени господя, призывая на их головы всяческую благодать, — только с этой минуты к Авирону стало возвращаться сознание, но все еще так медленно, что он в полузабытии едва разбирал слова пророка.

— Благословение снизойдет на вас, — слышался из дальней дали, словно сдавленный, но знакомый голос.



А левиты стояли, склонив головы, и улыбка счастья, счастья исполненного долга, счастья будущих благ расцветала на их окровавленных лицах. Вчера они резали баранов, сегодня людей, все равно ведь и это для бога, и это во славу его.

А позади стонал израненный сонм. Обессиленные избитые люди скулили и умели только проклинать. И проклинали. И эти проклятья удушливой тучей поднялись над станом и, сливаясь с рыданиями женщин, возносились туда же — к богу.

VII

О, как заболела душа у Авирона! . . . Как тяжело стало ему, как хотелось вырвать из сердца самое это воспоминание, забыть свой кровавый меч и кровавый день! . . . Кругом, кругом, повсюду, куда ни глянешь глазом, куда ни поведешь ухом, — везде стон, и плач, и проклятья. Авирон не мог и вообразить, что человеческий язык способен так страшно проклинать, что человеческой голове дано измыслить такие свирепые кары. Из каждой кущи, из каждого шатра неся плач, летели неистовые, тяжкие проклятья.

Вот бедный заплатанный шатер. Крепко завязан вход в него, а внутри женщина бьется над чьим-то трупом, и тяжело клянут Моисея женские уста:

— О, да истребит огонь носившее тебя чрево, да высосет змея вскормившую тебя грудь! Да вселится червь ненасытный в утробу твою и да грызет он тебя день и ночь, пока не сгинешь ты меж шатров и пес прокаженный не испражнится тебе на лицо, чтобы тело твоё осталось одно

в пустыне и чтобы гиены и шакалы брезговали пожирать его, а ветер, пролетая, миновал бы, боясь оскверниться и невольно занести отравленное тобой дыхание в родник или на смоковницу! Ибо от смрада твоего иссохнет вода и смоковница сгорит, вознося к небу рыдания и жалуясь: о небо, неужто ты не нашло мне лучшей смерти?

И женщина выла, и было слышно, как она била себя в грудь, а потом, ухватясь за волосы, рвала их и ломала руки, вытягиваясь и изгибаясь.

И Авирон не мог этого вынести. . . «О пророк, пророк, что же ты наделал?» — всхлипывая, повторял он и бежал, бежал прочь из стана, чтобы уйти, чтобы не слышать. А вдогонку ему из тысяч куш, из тысяч ртов неслись стоны и проклятья, целое море проклятий.

Он бежал, а ему казалось, что все знают, что все видели, как он рубил мечом, что вот сейчас из той вон кущи выбежит женщина и крикнет: «Не пускайте его! Не пускайте его, он хочет убежать. . . Это он убил моего брата, не пускайте его!»

А Авирон, все ускоряя бег, выскочил за ворота и еще долго не останавливался, бежал по безлюдной пустыне, без цели, без направления; он хотел только одного — зайти так далеко, чтобы не слышать гомона и этих страшных проклятий, доносящихся из стана.

И вот он уже здесь, уже далеко. Здесь совсем спокойно. Молчание пустыни поглотило все, даже вопль иудейский. Небо опустилось между станом и тем местом, где стоял юноша; песок засыпал следы, и казалось, утрачены все связи.

Авирон сел, обхватил руками голову. . .

Далеко-далеко, окутанная туманом, виднелась святая гора, и еще ярче вырисовывалась на синем небе черная туча, из которой говорил с Моисеем бог. Где-то трещала цикада, что-то живое ползало вокруг, но Авирон ничего не видел и не слышал. Он думал, и думы его, гнетущие и жестокие, раздирали юношеское сердце.

Кто теперь плачет там от его, Авиронова, меча?

Смутно вспоминаются ему те минуты безумия, и все-таки мерещится как будто некий бородатый человек. Верно, он был хром, потому что неуклюже колыхался, дергаясь всем телом. А когда услышал топот молодых ног, нагоняющих его, обернулся. На миг увидел Авирон обессиленное, искаженное страхом лицо, слюну в бороде. . . и больше ничего уже не помнил, потому что ударил мечом прямо по лицу. И еще он помнил тот миг, то странное ощущение, когда меч, свободно рассекая воздух, вдруг дрогнул в руке на одно неуловимое мгновение, вгрызаясь в твердую кость и разбрызгивая кровь. . .

О-о-о! . .

— Неужели это было? Неужели это могло быть? . . За что, за что я его убил? . .

«Он согрешил перед богом. . .»

— А откуда я знаю, что он согрешил? Может, он и не кланялся тельцу, может быть, пошел просто так, посмотреть. . .

«А если и согрешил, так что? . . Что такое грех?»

— Грех — это если я сделаю не так, как велел Моисей. . . Боже! . . И только? . . Как-то отец указал мне место, где поставить кущу, а я уви-

дел там нечистоту и поставил в другом; что же, выходит, я согрешил и должен за это умереть? . . Ой, что-то я ничего не понимаю. . . Да помогите же мне кто-нибудь! Дайте мне понять, что не убийство я совершил, а выполнил свой священный долг. Покажите мне грех во всем его ужасе, во всей отвратности великой, чтобы я убедился и ясно увидел, что за него следовало убить того, бородатого, и всех, кто убит сегодня. . .

И он стонал и не мог усидеть на месте. Встал и заходил по пескам, не находя себе покоя. Самое понятие греха так измельчало в его глазах, что он не мог найти разницы между простым непослушанием и грехом перед богом, — это казалось ему одинаковым. И он все больше и больше растравлял себя вопросами и мучился, не в силах их разрешить; они неудержимой жгучей вереницей проходили через его мозг, оставляя по себе кровавый след.

— Моисей велел тебе убивать «брата своего, ближнего своего и соседа своего». . . Ну, а что, если бы ты и в самом деле встретил своего соседа, старенького доброго Эфуда, который тебя еще ребенком подкидывал на коленях, припевая песенку? Ты и его ударил бы по лицу мечом?

«Не знаю, не знаю. . .»

— А если бы тебе встретился брат, твой брат Датан? Ты же знаешь, он-то уж наверняка согрешил: он стоял возле тельца вместе с Кореем и кланялся новому богу, впрочем, быть может, так же неискренно, как и старому. Он тоже подстрекал людей против Моисея. Но ведь ты вместе с ним купался в Ниле и ездил на одном осле, разве ты убил бы брата своего?

«Не знаю, не знаю. . .»

— А если бы отец твой и мать, нежная, печальная мама твоя, бежали бы перед тобой, держась за руки, и оборачивались бы такими же обесмысленными лицами посмотреть, кто их догоняет, звеня мечом, а увидав, что это сын их, их любимец Авирон, стали бы с криком радости — ты поразил бы их во имя божие?

«О, не знаю... не знаю...»

— А если бы Асха, прекрасная юная Асха остановилась бы вдруг, скрестив руки на груди, и возвела на тебя огромные, как полный месяц, глаза — ты и на нее поднял бы руку и ее ударил бы мечом в грудь? .. О Асха, Асха! .. Я не убил тебя, но что, если тебя убил тот, кто бежал со мной рядом? .. Что, если и над тобой теперь кричит мать, как та женщина в шатре? А что, если твое тело лежит в смрадном рву и псы лижут мертвое лицо? ..

И все тело Авирона похолодело, словно самое сердце обратилось в осколок льда. Тревога пронзила его мозг и погнала, погнала назад, к стану. И он неся, как разъяренный тигр, в несколько минут повторив путь, на который потратил часы; задыхающийся, потный вбежал в стан и снова натолкнулся на толпы: Моисей снова собрал весь иудейский сонм и снова затевал что-то перед народом. С губ Авирона невольно сорвалось бранное слово...

Протискиваясь сквозь толпу, Авирон случайно заметил человека, жившего в близком соседстве с родителями Асхи. Юноша обрадовался этому человеку, как родному отцу, и спросил, все ли живы в семье Ионатана. Тот ответил, что все, и Авирон сразу успокоился. Но тут его охватила такая усталость, что он сел здесь же

на какой-то камень, хотя вокруг все стояли. Ему даже не интересно было спрашивать, что делается там, впереди, на какую новую беду собрал народ Моисей. И только когда все пошли к воде, потащив и его за собою, Авирон спросил: «Куда это мы?»

Ему рассказали, что это Моисей сжег золотого тельца. Посыпал его каким-то порошком, развел сильный огонь, и на глазах у людей блестящий, сияющий бог рассыпался серым, чуть красноватым прахом. Сколько пропало золота!.. А потом Моисей собрал этот прах, развеял по воде и велел всем пить эту воду. И все, как бараны, сбились в кучу, наступая друг другу на ноги, и пили, пили ее.

Моисей велел схоронить за ночь всех мертвых, а на заре, прежде чем взойдет солнце, всем собраться и тронуться с этого оскверненного идолопоклонством места и стать там, где увидят его, Моисееву, кущу. Только разбить стан поодаль от нее; она с этих пор будет называться «скинией собрания», и не всякий сможет приблизиться к ней, а только тот, кто взыскует господа.

И все надели траурные одежды, и стон и плач с приходом ночи объяли весь иудейский сонм. Во всех концах засветились огни, и пламя отбрасывало на страшную работу людей страшные отблески. По земле распростерлись длинные тени, и концы их терялись во тьме где-то далеко-далеко...

Вот большой общий костер нескольких семей. Могучее зарево бросил он в черное небо, и кровавые пятна света пляшут по земле, по шатрам, по людям... И люди ходят в этом кро-



ваво-красном море и шевелятся, а когда поднимут руки, руки кажутся бесконечно длинными. Роют землю, закутывают мертвецов в белые ткани, кладут и закапывают. И силой оттаскивают женщину, которая, словно клещами, впилась в труп единственного сына и кричит, кричит... И седые старики кучкой стоят над могилами и читают молитвы, исполняя сокращенный, изуверченный похоронный обряд... А там, дальше выносят вещи, и вяжут их, и свертывают шатры, и бьют ослов. А там мать разостлала что-то прямо на сухом песке пустыни и уложила спать ребенка; и спит он под весь этот стон и плач суетящихся людей, и снятся ему тихие, ласковые сны...

Авирон не спал всю ночь, переходил от кущи к куще и, где было мало рук, добавлял две свои, молодые и сильные. Он делал всю самую тяжелую работу в похоронном обряде и хотел только одного — глянуть на погребаемого... Все думал, что найдет рану на бородатом лице...

Так он переходил от кущи к куще, от трупа к трупу, рыл могилу за могилой, но не находил



того, да и трудно было найти — убитых было три тысячи...

Женщины благодарили Авирона за помощь, призывали на него благословение бога, а ему это благословение казалось скрытым проклятием, и он спешил уйти.

И так не нашел за всю ночь. Только измучился до того, что, добравшись к утру домой, упал, не глядя куда, и уснул как убитый.

Разбудил его брат.

— Вставай, убийца, вставай! А ну, признавайся, сколько душ загубил вчера во славу божью?

Авирон сел, протирая глаза. Слова брата разом привели его в себя, словно ушат холодной воды. Он не находил, что сказать, только жалобно просил:

— Не говори, не говори мне ничего, умоляю тебя!..

— Ага! Теперь «не говори»? А вчера кто побежал как шальной с мечом по одному слову того кровожадного зверя? О, когда уже он так напьется нашей крови, чтобы перестать ее пить?

Раньше мы по крайней мере знали, что мы рабы, и что у нас есть право бунта. А здесь? Он убедил нас, будто творит волю бога, будто сам он ничто — все бог. Велит идти вперед, говорит — бог ему явился и велел идти; велит стать — и снова бог выбрал это место. И даже убивать людей бог ему приказал. О вы, глупцы, глупцы! Проклянет вас израильский народ вместе с вашим кровожадным повелителем, потому что исполняете кровавый приказ и даже не даете себе труда обдумать его. Ну кто из вас подумал над словами Моисея: «Бог через меня приказывает вам идти убивать»? *Когда* ему бог это приказал? Когда, отвечай! Ну? Я спрашиваю тебя. Тогда, как был он на горе? Так что же он не сказал этого сразу, как только прибежал? «Гей, мол, вы, дурачки мои! Был я на горе и там слышал, как бог велел, чтобы вы сейчас же взяли мечи и убили три тысячи своих братьев!» Почему он не сказал этого сразу, а стал расспрашивать Аарона и бранить его, поносить нас всех, и только после этого собрал вас, слепых безумцев, и приказал вам резать?.. *Значит, не говорил ему бог ничего там, на горе!* А где же он ему говорил? Тут, перед тельцом? Так почему же мы не слышали голоса бога? Ведь все молчали, было тихо, можно было расслышать пчелу, не то что бога, и никто ничего не слышал. Я был там, но я ничего не слышал! Да, да! Я был там! Я кланялся тельцу, что же ты мне сделаешь? Может быть, снова возьмешь меч и убьешь меня? Так бери, бери скорей, я не боюсь тебя, у-у, слепой раб с прокаженной совестью!..

И Датан, весь красный, тряс брата и чуть не плевал ему в лицо. Авирон закрыл глаза руками

и, если бы брат даже бил его, не пошевелился бы, чтобы оборониться, — побои были бы ему только приятны. Чужие слова были еще острее собственных мыслей и жгли, как расплавленный металл.

— Одурманил вас Моисей, ослепил! — кричал Датан, забывая даже, что отец может услышать это богохульство. — Выколол вам глаза и сковал душу и волю! И вы, как бараны, слушаетесь его и дивитесь его халдейским хитростям!

И только когда отец пришел и обругал сыновей за то, что все вокруг готовы и только их куща стоит, как стояла, — только тогда братья взялись за работу, но Датан и здесь презрительно отвергал услужливость Авирона.

VIII

Не успели израильтяне расположиться на новом месте, как вновь затрубила труба Моисея, созывая народ. Не один подумал про себя: «О, когда же он, наконец, оставит нас в покое!» Но никто не издал ни звука, потому что страх объял всех и закрыл все рты.

И все собрались и боязливо перешептывались, и не узнать было подвижного, своевольного, говорливого Израиля. Посматривали на кущу Моисея, которая стояла в отдалении от всех, словно боясь мести; возле нее виднелся и сам Моисей. И все видели его вот так же, как каждый видел своего брата. И видели также молодого Иисуса, сына Навина, стоявшего рядом с пророком; лица обоих были одинаково строги и решительны.

Не раз, бывало, Авирон завидовал этому счастливцу, который мог постоянно быть возле Моисея и повсюду ходить с ним и слушать речи пророка, но сегодня Авирон почему-то равнодушно смотрел на него.

И так стоял Израиль и ждал, не зная, зачем всех созвали сюда, пока не начались чудеса. А начались они с того, что Иисус вошел в скинию, и ничего не случилось, а Моисей был снаружи. И вот Моисей высоко поднял руки и тоже вошел в скинию. И как только полы за ним сомкнулись, перед входом в скинию на глазах у всех стал столп огня. Поднялся он с земли или пал с неба — этого никто не мог точно сказать. Увидеть среди бела дня при солнечном свете большой огненный столп, который стоит у самой кущи и не палит ее, — это и в самом деле было страшно. И потому неудивительно, что все люди, как один, упали на колени, поклонились до земли. Да так и остались, потому что снова услышали неясный, но громовой голос бога, которому отвечал тоненький, как ниточка, жалобный голос Моисея.

Потом Моисей вышел из скинии — огненный столп при этом куда-то исчез, — подошел ближе к народу и заговорил:

— Израиль безумный!.. Слушай, что говорит тебе господь твой! Великий грех совершил ты, Израиль, преступив закон завета, сотворя себе тельца и принеся жертву ему. Нет большего греха перед богом, чем забыть его имя, как нет большего греха перед царем, чем покуситься на его жизнь. И потому в величайшую ярость пришел господь наш и так говорил мне: «Сыны, которых я родил и возвысил, отвернулись от меня.

Израиль не принял меня, и люди мои меня не понимают. О люди, сосуды греха! О лукавое семя! Наложу руку мою на тебя и погублю!»

И хотел господь покарать всех вас великой карой, но я пал перед ним на колени и молил: «Боже святой! Правда, что полнится земля мерзостями дел их, и поклонились они тому, что создали сами. Но смилуйся... Не возноси гнева на людей, коих сам вывел из земли терпения. Не ты ли клялся собою и говорил: «Умножу ваше племя, и станет вас как звезд на небе, и дам вам всю землю, чтоб владели ею вовек», — а теперь хочешь истребить весь народ? Отпусти им грех, а нет, так вычеркни меня из книги, в которую вписал мое имя!»

Так говорил я истинному, и смилостивился он на мои слова и сказал: «Не выкину имени твоего из книги моей, ибо лишь тех, кто грешен передо мною, вычеркиваю навек. Но греха этих людей не забуду, и придет день, когда накажу их за жертву тельцу. Теперь же скажи им так: клялся я Аврааму, Исааку и Иакову, глаголя: «Семени вашему дам землю сию», — и сдержу свое слово. И разве не принялсЯ я уже за дело? Разве не вывел вас из рабства? Разве не перевел через Чермное море, как посуху? Разве не сделал вам в Мере воду сладкой, и не послал вам манны с небес, и не дал в Хориве напиться из скалы? Повсюду был я с вами, и десница моя ровняла вам путь. А вы? Как повернулся у вас язык хулить мое имя? О, прогневили вы меня тем до предела, и не хочу я больше идти с вами Идите одни!»

И люди слушали эти слова Моисея, и плакали в своей траурной одежде, и молили Моисея

снова привлечь к ним милость бога. Страшно оставаться одним в пустыне без божьей опеки... Кто поведет? Кто даст перепелов? Кому принести жертву?

А Моисей стоял перед ними гневный и строгий, и уста его были камень, и сердце как скала. Спокойно смотрел он на плач и вопли людей, словно говоря самому себе: что такое слезы и рыдания и даже самая жизнь людей перед великой целью, к которой веду я это стадо?

А когда стало потише, он снова начал:

— «Нет! Не пойду я с тобой, Израиль, ибо слишком высоко несешь свою голову. Не пойду я с тобой, Израиль, чтобы не убить тебя в гневе. Но не хочу и оставить тебя в жертву врагу и в жертву пустыне. А потому посылаю ангела моего пред тобой, и он изгонит Хананея, и Аморея, и Хетея, и Ферезея, и Гергесея, и Евея, и Евусея и введет тебя в землю, где текут молоко и мед».

Люди вздохнули свободнее — все же хоть ангел бога пойдет с ними через пустыню и будет помогать им. А Моисей продолжал:

— И возблагодарил я господа, говоря: «Благодарю тебя, всесильный, от имени народа твоего за ангела, проводника невидимого. Но выслушай меня: не поставишь ли ты перед Израилем и видимого проводника, ибо уже не слушают меня люди и преступают слово мое. Не хочу я власти, хочу покоя...» И ответил мне господь: «Знай, что тебя знаю я лучше всех. И только тебе могу поручить вести мой народ, и тебе пусть он повинуется, ибо через тебя покажу я еще и не такую свою силу...»

А я ответил на то господу: «Милостивый! Ты говоришь, что я обрел твою благодать. Коли

так, яви же мне твою славу, покажи мне твое лицо, чтобы я увидел его и рассказал Израилю, ибо не желает Израиль верить в невидимого бога». А господь сказал мне на то (тут голос Моисея взлетел ввысь, а рассеянные в толпе левиты зашептали: «Слушайте... слушайте!..»), господь сказал мне на то: «Мое лицо не можешь увидеть ни ты, ни кто другой из смертных. Кто увидит мое лицо — умрет. Но чтобы ты знал мою силу, слушай: есть у меня место на святой горе и там стань на камне. И положу я тебя в расселину того камня и накрою рукой, когда пройду мимо. А потом подниму руку, и увидишь мой зад. Лицо же мое не явится тебе...»

Вздых пронесся над сонмом, и молитвенное настроение освятило души. Сладко было чувствовать себя подданными такого сильного, такого могущественного бога, что даже пророку он может показать только зад... О, лишь бы не изменять ему, исполнять его завет, а уж он сумеет покорить всех врагов!

А Моисей, передохнув, продолжал:

— Видишь ли ты хоть теперь, Израиль, что тяжел твой грех? Кто хотел видеть лицо бога, когда мне, даже мне господь не может показать его?.. Но милостив вождь наш и велик! И это он повелел мне сделать святыню, которую видели бы ваши глаза, обнимали бы ваши руки, целовали бы уста ваши. Израиль, Израиль!.. Ты уже имел бы святыню, не согреши ты так тяжко, ибо там, на горе, написал бог свои заповеди на скрижалях из камня, и это была бы твоя святыня. Но я разбил скрижали в гневе, увидя грех людей и не зная, простит ли его господь. Теперь же должен буду снова идти на гору и побыть там еще

сорок дней и сорок ночей, не вкушая хлеба и не омочив губ водою, пока не напишу на новых скрижалях божьи слова. А потом, когда вернусь, сделаем золотой ковчег, как расскажет мне бог. И положим туда те скрижали, и будет это дело рук господних идти перед нами, перед всем сонмом, словно сам господь.

На этом Моисей закончил и отпустил народ. Успокоенные, с просветленными душами расходились люди по кущам, тихо переговариваясь о неисповедимых путях господних.

А на другой день Моисея уже снова не стало. Такая неутомимость изумляла людей, и они могли объяснить ее лишь божьим благословением.

IX

И как сказал, пробыл Моисей на горе сорок дней и сорок ночей, но теперь уже люди точно, наперед знали день возвращения и были спокойны. Да и как не быть им спокойными, когда в каждой семье вспоминали убитого либо изувеченного. Еще текла кровь из ран, еще сжимались сердца мужчин и причитали женщины, одетые в траур. И может быть, не одно проклятье подавлено было страхом и не сорвалось с губ: глухо, неслышно вылетало оно из смертельно-оскорбленного сердца посреди тихой ночи в пустыне и бесследно исчезало, как слеза в песке, как спугнутая, упавшая с неба звездочка. И может быть, не раз скрежетали зубы, сжимались руки и угрожающе дрожали в воздухе, но то было только по ночам, только по ночам... Днем никто ничего не видал и не слышал.

А на сорок первый день снова увидели все Моисея сходящим с горы со святынею в руках. И оттого, что удостоился он видеть господя, лицо его светилось так нестерпимо, что невозможно было людям смотреть на него — ну просто как солнце! И снова все в экстазе, в благоговейном восторге упали на колени. Аарон же и князья сонма просили Моисея опустить покров на лицо, потому что не в силах человеческий взор вынести сияние славы. И Моисей опустил покров на лицо и только тогда приблизился к народу и заговорил:

— О Израиль, Израиль!.. Видишь ли ты хоть теперь безумство своих желаний? Что же было бы, яви и впрямь господь простым людям лицо славы, лицо гнева, лицо высшей благодати? Нет, не завидуйте тем, у кого бог перед глазами, — не истинны те боги, все они — дело рук человеческих. Только наш бог истинный, ибо не может глаз видеть его лицо, но лишь славу его дел. Вот его завет, переписанный мною слово за словом.

И Моисей поднял высоко над головой каменные скрижали и так поворачивался во все стороны, чтобы видно было всем.

— Вот скрижали заповедей! Вот святыня твоя, Израиль! Я писал так, как повелел господь, и потому это не дело людских рук, а дело премудрости божией.

Слушайте, люди, слушайте!.. Показал мне бог на горе образец святого ковчега, который надлежит нам сделать. Славное и премудрое начинание показал мне господь, это не то что ваш глупый телец! Собственными глазами видел я святыню, которую хочет подарить нам всевыш-

ний, и образ этот несущ теперь на устах моих в уши и сердца ваши. Слушай, Израиль, как сказал мне господь, слушай и не пропусти ни одного слова!

«Сделай ковчег из негниющего дерева в два с половиной локтя длины, полтора локтя ширины и полтора высоты. И обложи его чистым золотом изнутри и снаружи. И сделай для него венец из витого золота и наложи поверх ковчега. Потом вылей кольца из витого золота и укрепи их по два с каждой стороны внизу. И сделай из негниющего дерева шесты, и позолоти чистым золотом, и вложи в кольца, и укрепи, чтобы не шатались они там. И крышку для ковчега сделай из чистого золота, а на ней двух литых херувимов — одного по одну сторону, другого по другую, лицом друг к другу, чтобы они распростерли крылья над покоем очищения, а глаза устремили бы на ковчег. А когда все это будет готово, сложишь в ковчег скрижали мои, накроешь крышкой, и возглаголю я к тебе с того места меж двумя херувимами. И что скажу оттуда, то да услышит мой народ». Слышишь, Израиль? Слышишь славу святости твоей, которая превыше всех языческих святых и славнее всех дел рук человеческих?

И люди слышали. Смотрели на закрытое лицо Моисея, слушали голос, выходивший из-под покрывала, и радовались и боялись.

И Моисей рассказал все. И какой должен быть стол и тарелки для жертвоприношения хлебом (ибо сказал господь: «Пресытился я вашими всесожжениями, и не хочу больше ягнят, и козлов не хочу, а приносите мне больше жертв бескровных»). И какие должны быть куриль-

ницы для фимиама и чаши для возлияний, все это надо сделать из чистого золота. И светильник дивный и прекрасный — шесть ветвей выходит из него: три с одной стороны и три с другой стороны, и три чаши на этих ветвях в виде ореха, и шипцы, и подставки для светильника, и лотки, и лампады, — и все из чистого золота.

Такая красота захватила людей. Всем было ясно, что так точно описать каждую подробность может только тот, кто сам видел все это в руках господних. Описывая скинию, Моисей перечислил, сколько будет там завес и какого размера каждая, даже сколько петель надо нашить на каждую завесу, и сколько крючков и гвоздей, и сколько столбов будут поддерживать скинию, и сколько для них свечей серебряных — все, все до последней мелочи.

Оказалось, что скиния будет разделена на три части: двор, доступный для всех; святилище, куда будут вхожи лишь слуги господа; и святая святых, где будет стоять ковчег завета и куда сможет входить только сам первосвященник, которым бог назначил Аарона, брата Моисея. Всякого же другого, кто посмеет войти в святая святых, ждет смерть.

А потом Моисей принялся описывать ризы Аарона и ризы его сыновей, назначенных отныне священниками. И тут тоже не забыл ни малейшей подробности, ни камешка, ни рубчика, заботясь о том, чтобы все выглядело как можно роскошнее, чтобы слепило глаза и показывало людям величие бога и их собственное ничтожество.

— «А когда Аарон очистится для священнодействия и сыновья его очистятся, возьмешь од-

ного теленка и двух баранов без порока и возьмешь пресные хлебы, смешанные с елеем, и помазанные елеем опресноки из пшеничной муки. И приведешь Аарона и сыновей его к дверям скинии, и омоешь их водой. И взяв потом святые ризы, наденешь их на своего брата Аарона — и хитон, и потир, и верхнюю ризу, и на голову его возложишь клобук и золотую дощечку, на которой будет написано «Святыня господня», а голову его помажешь елеем помазания. Сыновей же его подпояшешь поясами и тоже помажешь елеем.

А потом заколешь перед господом теленка и возьмешь его крови, и помажешь углы алтаря пальцем, а остаток крови выльешь возле алтарного стола. И возьмешь нутряное сало, и перепонку печени, и почки, и жир их, и положишь на алтарь, а мясо теленка сожжешь на огне за пределами стана, ибо грех непосвященному коснуться его.

А потом возьмешь одного барана, и пусть возложит на него руки Аарон с сыновьями, а ты, заколов его, перекрести кровью место вокруг алтаря. А тушу рассеки на части, и вымой требуху и ноги в воде, и положи на алтарь — это будет жертва богу. И другого барана возьми, и на него тоже пусть Аарон и сыновья его возложат руки, а ты, заколов его, возьми крови и помажь Аарону край правого уха и конец правой руки и конец правой ноги. А потом возьмешь кровь с алтаря и елей, покропишь Аарона, ризу его, и сыновей его, и их ризы. И так они очистятся».

И долго еще в кровавых подробностях описывал Моисей красоты нового обряда. И безумцам, которые жаловались на простоту и убоже-

ство богослужения, пришлось теперь устыдиться: их бог — теперь они видели это — знает куда большую пышность, чем в Египте.

А ковчег? Ну разве ж это не красота? Сколько золота, серебра, драгоценных камней! Сколько багряниц, виссона, червленной шерсти, крашенных козьих кож! А сколько гранат, и цвета смирны, и кинамона, и касии, и халвана понадобится на священный елей! И как дивно все это должно благоухать! Один бог может нюхать все это — всякий, кто захочет сделать что-либо подобное для себя, умрет.

— «А исполнить все это, — передавал далее Моисей слова господя, — поручаю Веселиилу, сыну Урии, сына Ора из племени Иуды. Ибо его исполню духа своего, духа премудрости и разума, и помогу ему лить золото, серебро и медь. И в каменной работе ему помогу, и в деревянной. А в помощники ему даю Элиава, сына Ахисамаха из племени Дана, этот будет шить из багряниц, червленной шерсти и виссона. Да и каждый, кто способен к чему, пусть потрудится по способностям.

А теперь... пусть каждый несет господу по воле сердца своего. Несите и золото, и серебро, и медь, и синюю шерсть, и червленую багряницу, из шерсти крученной в две нити, и тканый виссон, и трихаптон, и козью шерсть! И кожи красные и синие, и негниющее дерево — ситтим, и фимиам на освящение, и елей для помазания! И камень сардийский и мелкие камения на ризу первосвященника и на потир. И всякий, кто владеет мастерством, пусть идет и делает, что заповедал бог: и скинию, и завесы, и покровы, и шесты, и столбы, и стойки! И занавесь во двор,

и столбы для нее, и шесты для стола, и все его убранство! И светильник, и кадильный алтарь, и алтарь всесожжения, и очаг для него! И умывальник! И святые ризы для Аарона, и ризы для священников сыновьям его! Иди же, о Израиль! Настал час показать твою любовь к богу и искупить свое прегрешение».

И произошло чудо! Толпою двинулся Израиль к кущам и понес свои богатства, свою долю в дело господа. И снова, как недавно, понесли кольца и печати, и запястья, и женские серьги, и нагрудники, и все, кто что имел золотого, срывая украшения с одежды и с музыкальных инструментов. И у кого были багряница, и виссон, и крашенные кожи, и шерсть, нес; и у кого были серебро и медь, нес их, а у кого ситтим, нес дерево. И женщина, мастерица прясть, несла пряжу, а та, что умела ткать козью шерсть, несла ее. А князья несли смарагды и другие драгоценные камни на ризу Аарону: и сард, и топаз, и сапфир, и агат, и аметист, и хризолит, и оникс, и берилл. И все это нес Израиль проворно, с радостью в сердце, с веселым лицом, и носил так весь остаток дня, и только ночь приостановила поток жертволюбия и усердия богу.

Х

Авирон прислуживал в куще приношения. Он бегал, носил, вешал, раскладывал и помогал всюду, где требовалась помощь. И сердце его наполнилось радостью, ибо он чувствовал, что делает дело господа, и тревога последних дней забылась. Правда, сыновья Левия косо смотрели

на непрошеного помощника; но то, что им можно было помыкать, свалив на него самую трудную работу, сдерживало их.

Авирон же тем больше радовался, чем больше наваливали на него работы, словно искупал тем свой душевный грех. И все говорил себе: «Мирный труд господу, а не кровь живущих». И от этой фразы, бессознательно повторенной десять — двадцать раз, душа наполнялась тихой благодатью и теплом, и хотелось петь.

И только когда он пришел домой и лег, приятная господня работа в мирном свете дня отошла от него далеко-далеко, уступив место ночи, матери всех темных мыслей, и ночь окружила его со всех сторон, и снова, о, снова пришли они, те жестокие мысли, которые мучили его в последние дни, и Авирон спрашивал себя: «Неужели семя моего брата всходит в моей душе и цветет и дает плод?..»

Авирон сравнивал два свои настроения при исполнении воли одного и того же бога: одно, с которым он убивал человека, и другое, с которым трудился сегодня в куще приношения. Если тогда на душе было темно и она рвалась на части от сознания бесповоротности поступка, то сегодня на душе было тихо и хотелось молиться...

«Мирный труд господу, а не кровь живущих...»

И мысль цеплялась за мысль и с усилием двигала одна другую, как тихая вода движет поросшее мохом мельничное колесо.

«Что добро?.. Добро — пение и хвала души и плач радости; добро — удовлетворение дневным трудом и благословение ближнего, за при-



несенные ему помощь, радость и покой. Добро — привязанность к матери, к отцу, к брату; добро — любовь, с которой смотрю я в глаза Асхи, и слушаю тихий невинный шепот маленьких ее губок, и прислушиваюсь к ее желаниям. . .

А что зло? . . Зло — муки души, стон и плач, порожденный бесповоротностью содеянного; и безумство поступков, и воспоминание о них, и бессонные ночи; и проклятие ближнего за принесенное ему несчастье, за его печаль и скорбь. И озлобление, и ненависть, и скрежет зубов, и меч, и нож, и вид крови на солнце.

... А бог велик! А бог мудр! А бог добр!

... И теперь спрашиваю я себя: может ли подъяремный вол родить телянка? И может ли теленок родить льва, а горчичное дерево принести плод из камня? И также — может ли добрый бог повелеть делать зло, и радоваться тьме, и ненависти, и тешиться проклятиями и распрей меж людьми? . . О нет! . . Я умножу семя твое, сказал господь; а не сказал — рассекайте один

другого на части! Человек любит карать за грех, а бог?.. Он такой сильный, что не нуждается в каре. Человек выдумал справедливость, а бог?.. Бог выдумал вечность, в которой канут все справедливости, которая сама — справедливость. Человек сковал себе меч, а богу меч — око его, которым заглянет он к тебе в душу и осветит и выставит грех твой перед тобою. А мышца его — слово, которое проникнет в глубины твоей души и погасит пламя бунта».

... И так текла мысль за мыслью, и перед глазами встало грандиозное зрелище... обмана...

С самого начала! С самого выхода из Египта! Каждый день, каждый час обман, обман, обман!.. Обман — именем бога, власть — его властью, слово — его словом!..

И самая возможность этого была так страшна, что Авирон похолодел, и закутался с головой, и гнал от себя эти разрушительные мысли. Они жгли его, как огонь, от них захватывало дух, а они все приходили, приходили, приходили... И перед глазами вставали картины минувшего, и рождались к ним другие объяснения, и при этом вспоминались слова Датана и смех Корея, и все то, что возмущало Авирона прежде. И вспомнилось, как Корей высмеивал некоторые выходки Моисея, и от всего этого хотелось кричать и бежать куда глаза глядят, как будто можно было убежать от самого себя.

— Пошли мне сон, господи! — молил дрожащим шепотом Авирон. — Пошли мне сон, чтобы я не обезумел в эту ночь, чтобы остались силы послужить тебе еще...

Но сон не шел, и мысли рвали на части душу юноши, как дикие гиены рвут верблюда...

XI

А на другой день, только блеснуло солнце, Авирон побежал к куще приношения. Думал, будет первым, но где там! Израиль уже проснулся и нес свою жертву новому богу.

От утренней прохлады приятно трепетало тело. Пустыня была такая розовая, и так веселы, так полны веры и радости были лица встречающих, что Авирону стало стыдно за свои ночные думы и за свое кощунство... И он решил трудом выпросить прощение у бога.

— Я буду много трудиться, господи, и все время буду молиться тебе, и ты простишь мне тогда, правда? — прямо и откровенно спрашивал он бога. И после этого на душе у него стало тихо и просто.

Жертволюбие Израиля не спало и в ночи, и всю ночь готовили люди то, что предстояло нести завтра, и нетерпеливо дожидались первого проблеска дня, а дождавшись, потянулись длинной вереницей к куще приношения и несли, несли, несли... То, что именуется бережливостью, словно исчезло из сонма израильтян, никто не прятался за спину другого, никто не был хитер и мелочен, никто не утаивал. Море людей всколыхнул могучий вихрь, и как блудный сын, вернувшись к отцу, трудится на отцовских полях с удвоенной силой, так Израиль, вернувшись к богу, старался снова заслужить себе милость делом и жертвой.

Тут же около кущи сошлись мудрецы и старейшины Израиля и сыновья Аарона, будущие священники Надав, Авиуд, Элеазар, Итамар. Стояли мудрецы и старейшины и беседовали, и

в каждом их слове была судьба народа, будущность его, и спокойствие детей, и песня девушки. А к ним подошел старый, как солнце, и белый, как солнце, иудей. Он, как святыню, обеими руками держал ремень с большой золотой пряжкой и спрашивал:

— Где положить?

Но его никто не слышал, все были заняты своим делом, а мудрецы своей мудростью. Старик снова спросил, глядя ясным детским взором:

— Где положить этот пояс? Он опоясывал бедра отцов моих и праотцев и был в нашей семье с незапамятных времен. Как зеницу ока берегли мы его в земле Египта, говоря себе: лучше нам самим быть в неволе, чем нашей святыне. И отец мой, умирая, передал мне этот пояс на смертном одре и сказал: «Слушай, сын мой первородный! Счастье не покинет твой дом и здоровье — тело, пока ты будешь беречь эту святыню. А день, когда ты возьмешь этот пояс и возложишь его на себя или на сына, будет светлым днем в твоём роду. И не погибнет твой род, и не пересохнет молоко в сосцах дочерей, и не источит червь древо твоё, пока будет с тобой святыня...» Так говорил мне перед смертью отец, и я делал по слову его, и не посещал бог гневом своим моего дома. А теперь... без страха отдаю я святыню семьи на создание святыни народа. То, что это золото пойдет на ноги херувимов или на их крылья, или на венец, или на петлю завесы, отделяющей святая святых, сохранит дом мой от немилости бога... так же, как сберег бы его этот пояс у меня в куще. Так примите же, о мудрые, дар нашего рода, пусть и моя лепта умножит сокровище Израиля.



И старик благоговейно целовал святыню и все совал ее в руки одному из старейшин. Но те были так заняты своими подсчетами, что отмахивались от дарителя, как от мухи.

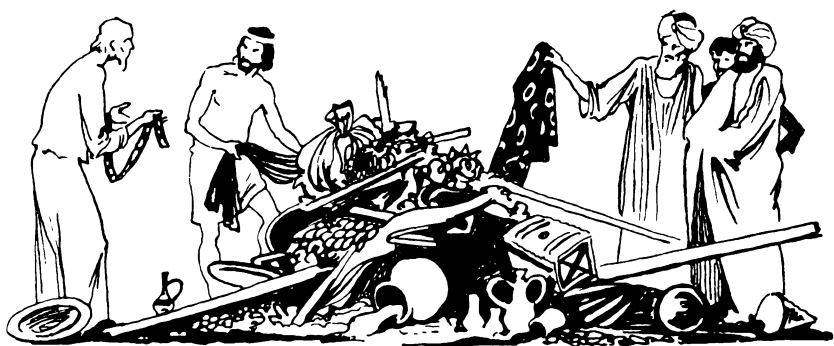
— Еще ты тут лезешь со своими ремешками! Видишь, сколько здесь куч всякого рванья, бросай туда, потом разберем.

Старик сперва не понял, а потом... словно весь сжался. Лицо его стало маленьким-маленьким, он жалко улыбался, и пояс дрожал у него в руках: они еще не подымались бросить святыню.

И Авирон увидел все это, и подбежал к старику, и сказал:

— Отец, дозвожь и мне поцеловать твою святыню, и будь спокоен: господь и в самом деле сохранит твой дом от несчастья, как берег и до сего дня... — И Авирон, благоговейно поцеловав золотую пряжку, бережно принял пояс из рук старика.

— Да благословит тебя бог, мальчик, не знаю, из чьего ты рода. Присмотри же, чтобы ни одну крупицу золота не потеряли и не затопта-



ли в грязь мастерской, ты, верно, будешь подручным у главного мастера?

— О нет! — тихо, с улыбкой сказал Авирон. — Для этого сам бог выбирает достойнейших, а я... я счастлив, что могу делать хоть то, что делаю.

Старик покачивал головой, изумляясь: уж если таких набожных юношей бог не изберет, то кого же он выберет? А впрочем, на то его святая воля...

А левиты видели все это, толкали друг друга локтями и посмеивались.

— Слыхали, как он обещал этому старому дураку божью милость? Сам Моисей не сумел бы лучше вывернуться.

— А как он целовал засаленный ремень, словно губы возлюбленной!

Авирон не хотел этого слушать и еще ревностней взялся за дело.

А жертвователи текли и текли. Несли чаши и блюда и слоновьи зубы; несли тонкие санирские кедровые доски, и кипарис, и певг Ливана, и дерево из Басанитиды и с островов Хетрим-

ских; и пестрый виссон, настоящий, египетский, и синету и багряницу с островов Элисе; и медь и архиденянское железо из Асиила, стакты и пестрядь из Фарсиса. И миро, и касию, и первый мед, и ритину, и блестящую шерсть из Милета. И вино хельвонское, и благовонное масло, и семидал, и савские, и равские драгоценные камни: сардий, топаз, смарагд, яхонт, антракс, яспис, сапфир, лигирий, агат, аметист, хризолит, берилл, оникс, — и всего без числа.

Одна женщина пришла и стала на колени; в ушах ее сверкали большие дорогие серьги, но их нельзя было вынуть: по обычаю рода, мать, надевая их старшей дочери, заклепывала их, и только когда их предстояло передать следующей старшей дочке, их распаивали и вдевали в молодые уши.

Женщина стала на колени перед Веселиилом и просила, чтобы тот взял свой инструмент и распаял сережки.

— У меня и поныне нет дочери. А если бы и была, я бы сказала ей: серьги твои пошли на святыню Израиля. Помоги же мне, Веселиил, поскорее принести мою жертву богу.

Но Веселиил был занят и приказал мальчишке распаять серьги. Мальчик взялся неумелой рукой и дважды коснулся уха женщины раскаленным железом. Но она не издала ни звука.

А в группе старейшин разгоралось все больше споров, поднимался все более громкий шум. Иногда мудрецы Израиля начинали так кричать и гневно размахивать руками, что казалось, вот-вот подерутся и вцепятся друг другу в седые бороды; но порой весь этот гам стихал и слышались лишь какие-то подсчеты.

Больше всех волновался один низенький, подвижной, с быстрыми глазками старичок. Он хватал Моисея за руки, что-то быстро-быстро показывал ему на пальцах рук и ног, подбегал к куче, выхватывал то одну вещь, то другую, подгонял тех, что стояли у весов и взвешивали жертву Израиля, жестикулировал, приседал и выкрикивал:

— Тридцать талантов и восемьсот сорок пять сиклей золота! Да куда мы все это денем? Уже и столбы можно отливать из чистого золота! Сто двадцать два таланта и тысяча шестьсот семьдесят сиклей серебра! Это уже теперь! А сколько будет еще? Восемьдесят пять талантов и две тысячи сто пятнадцать сиклей меди. Да куда же это все, куда?..

Моисей слушал его, иногда морща брови, а потом вдруг выступил вперед и решительно крикнул:

— Бог видит готовность Израиля и жертволюбие дочерей его! Довольно уже у нас золота, и серебра довольно, и меди и багряниц, и червленной шерсти. Достанет и на святыню бога и на одежду слуг его. Больше не приносите, слышите? И там, дальше, и всюду по сонму разгласите, что удовольился господь жертвой своего народа и не надо ему больше...

И левиты побежали во все стороны, выкрикивая слова Моисея, и Израиль услышал их и опечалился. Были ведь и такие, что не успели принести свой дар, и такие, что принесли мало и, укорив себя за скупость, хотели добавить к своему спасению. И женщины подбегали и бросали свои драгоценности в кучу издали, а левиты ругали их, кричали на них и отгоняли

прочь. За минуту перед тем они готовы были вы-
бранить каждого за скупость, призвать кару бо-
жию на голову ленивых дарителей, а теперь
били за щедрость.

И словно торг завязался возле кущи прино-
шения, и больно было Авирону смотреть на все
это. Он поглядывал на Моисея — не положит ли
пророк конец этому, но тот вел какую-то серьез-
ную беседу с мудрецами и не замечал излишнего
усердия божьих слуг.

Авирон подошел к отцу, который тоже стоял
в группе старейшин. Как раз в это время Моисей
закончил беседу и как-то непроизвольно, еще
во власти размышления, положил руку на голо-
ву юноши. И Авирону сделалось так сладко от
этого прикосновения мягкой старческой руки,
словно он ел мед и целовал при этом Асху.

— Это твой сын? — спросил Моисей старого
Элиава.

— Ты сказал, пророк.

— Верно, будет помогать тебе?

— Будет, но не так много. Для помощи у ме-
ня другой — старший, тот лучше умеет.

— А ты хотел бы потрудиться на господней
работе? — спросил Моисей Авирона.

У того от неожиданности захватило дух, и он
ничего не ответил. Но Моисей и не ждал ответа;
он обратился к Веселиилу:

— У тебя есть подручный? Сбегать, подать?

— Нет, — хмуро ответил Веселиил. Он вооб-
ще был угрюм, неприветлив и больше молчал,
словно сердился на весь свет.

— Ну так возьми этого. Он, верно, приго-
дится тебе; я уже второй день вижу его здесь.
Он с такой охотой работает!..

— Мне все равно, какую овцу брать — черную или белую.

Моисей снова погладил Авирона по голове и ласково сказал:

— Ну, так вот, благословляю тебя на работу для господа. Будь внимателен, во всем слушайся Веселиила и заслужишь благодать не только себе, но и всем, кого любишь.

...Авирон не знал, на земле он или на небе. Первым порывом его было упасть в прах и целовать ноги Моисея, но он не посмел и только смотрел на пророка такими глазами, что тот улыбнулся еще ласковей.

Все смешалось перед взором Авирона, на глазах выступили слезы. Радость не вмещалась в груди, рвалась наружу, хотелось кричать, плакать, махать руками...

Он примет участие в деле господа! Его рука коснется святыни всего народа! Понесут перед сонмом ковчег, и на бегу запоет Израиль песню хвалы; поставят — и то место станет святым навеки; люди будут целовать край завесы святилища и приносить жертвы, и высказывать все самое потаенное, самое заветное, самое великое... А он, этот молодой, никому не известный Авирон будет смотреть на все это и говорить себе: там были мои руки. Мои пальцы касались лица херувима, устами которого говорит теперь сам господь; моя рука вырезала венец святыни, моя рука обвевала святой покров!

И господь не забудет того, кто отдавал свой труд на его дело, кто жаром сердца разжигал угли, и отливал, и, раздувая меха, не жалел груди. И когда придет час нужды, воззову к богу моему! «Боже, скажу, помнишь ли время, когда

я делал твой ковчег, славу имени твоему?» И скажет господь: «Помню. Скажи, верный мой слуга, чего хочешь теперь от меня, и я дам тебе». — «Я хочу Асху... только ее хочу, боже мой... Ее глаз, ее губ... ее любви...» — «Так бери же себе Асху, честный мой слуга. И стада ее, и любовь родичей ее. Я не забуду тебя никогда, и травы твоей не иссушу, и стада не замучу жаждой». — «А я посвящу тебе, боже, первенца и десятую часть приплода от стад...»

Авирон позабыл, где он и что с ним. Левиты давно уже показывали на него пальцами.

— Глядите, глядите!.. И он, как Моисей, слышит неслышимые нам глаголы господа и голоса труб небесных. Вот дурачок! И откуда только он затесался сюда, братья?

Потом все разошлись по кушам обедать, и только Авирон не мог есть и ушел в свою милую пустыню. О мать-пустыня!.. Тебе горе, тебе и радость!

Солнце так страшно раскалило камни, что они дышали жаром, но Авирону казалось, что это немые камни посылают ему, как могут, свое сочувствие. На далеком горизонте подымался столб песку; Авирону казалось, что это пустыня шлет ему привет; и белые кости верблюдов, и перья растерзанной орлом птицы с засохшею кровью на концах, и маленькая черепашка, бог знает когда занесенная в это море песков, — все это были не следы смерти, а свидетели, радостные свидетели счастья души.

Ноги жгло, дышать было трудно, но Авирон не замечал этого. Легко ступал он по песку и старался заглянуть в самую сердцевину солнца, но не мог и, тихо смеясь, закрывал потом глаза

рукой: красные, синие, зеленые, желтые пятна плясали теперь перед его закрытыми глазами, и юноша останавливался; ему казалось, будто под ногами пропасть и он уже наступил на скорпиона. И снова он тихо смеялся, потому что знал: нет здесь никакой пропасти, а только песок, горячий движущийся песок...

А остановясь, стоял уже неподвижно и, не отнимая руки от глаз, слушал, как шумит далекий стан, как въедливо лает на кого-то собака, а вверху, высоко, под самым солнцем, раздается орлиный клекот. А потом тихо-тихо отводил руку от глаз и словно новыми, только что родившимися глазами видел и розовую пустыню, и бескрайний простор неба, и белые шатры Израиля, а там, поодаль, высокую большую кущу самого Моисея. И ощутив приход бога в душу и молитвенный порыв, опускался на колени.

— О Адонай, — говорил он, — о господь-всерждатель, о боже, отец наших, бог Авраама, Исаака и Иакова! Ты, что сотворил небо и землю со всей их красотой, и моря связал словом твоего повеления, и замкнул бездну страшным и славным именем своим! Ты, что вывел Израиль из дома труда, и разрешил узы нашей неволи, и связанного сделал свободным, — спасибо тебе!.. Спасибо тебе за милость, за то, что приблизился ко мне. Ты положил руку избрания на главу мою и раскрываешь передо мной таинство святыни!.. Недостоин я, боже, недостоин. О, как же бесконечно милосердие твое, всевышний и многомилостивый!.. И вот я преклоняю колени и молю тебя, высокий, не осуди за нищету духа и не погуби близостью своей...

...И плакал Авирон, и молился, переполнен-

ный счастьем. И будь здесь Моисей, о, какими слезами омыл бы теперь юноша ноги великого пророка, какими поцелуями покрыв бы край его святой одежды!

А вечером, когда зашло солнце и погасли короткие южные сумерки, Авирон незаметно вызвал Асху из шатра, и они пошли далеко-далеко, в пустыню. Звездная ночь радостно окутала их, и мягко обвеивал их тихий ветер... Взошел месяц, осветив молодую любовь и радуясь их нежному шепоту...

— Как я люблю тебя, Асха!.. Как я люблю тебя, сестра!.. И больше всего за то, что вот поверяю тебе душу, и сердце твое бьется в ответ... И за то еще, что рано утром ищу тебя глазами и расцветаю, когда ты идешь мимо меня по воду... И за то, что, стоя на молитве, могу вспомнить твое имя и сплести его с именем всевышнего...

— Не говори так — прогневишь бога, — тихо шептала Асха, прильнув к любимому, а самой хотелось, чтобы он говорил так еще, еще и еще, без конца.

— Нет, этим я не прогневаю бога, и он не покарает меня за эти слова. Разве не он создал и тебя, и меня, и эту пустыню, и луну, и небо? Разве не он растил тебя и меня где-то в разных концах Египта, чтобы поставить затем на одну тропу и дать нам встретиться? Разве не он шепнул, когда я впервые бросил на тебя взгляд: это Асха... твоя Асха?.. А тебе не он ли сказал: это Авирон, твой Авирон, которого ты полюбишь и назовешь мужем?..

— О да!.. — сказала Асха, с глазами, полными слез. — Это он. Это господь... Это Адонай!..

И мать-пустыня тихо улыбалась, благословляя святую молодую любовь, а там, далеко-далеко позади, в иудейском стане, перекликались часовые...

XII

А на другой день началась господня работа, а с нею то, что не мог, не знал как и назвать Авирон... О, почему он не ослеп на оба глаза, почему не оглохли его уши и не отсохла рука?!

Работа закипела: ткали, пряли, шили, резали, рубили, ковали, украшали резьбой... Ничего подобного еще не видел Израиль. Он видел постройку гигантских пирамид в Египте — и сам их строил, видел постройку неисходимых египетских храмов — и сам, на собственной спине, таскал и камень, и мрамор, и песок. Он видел тысячи тысяч рабочих, видел, как поднимается лес рук, как муравьями ползают люди по громадам памятников. И видел, как гнется дерево и как гнется спина человека, когда ему тяжело, слышал, как машина кричит и стонет, протестуя, а человек... становится еще молчаливее, разве непрошенная слеза сбежит по щеке вместе с каплей пота и тело вздрогнет от укуса египетского скорпиона... И над тьмами трудящихся рабов всегда висело молчание, тяжелое, как грозовая туча, страшное рабское молчание. Не слышно было шуток юношей и смеха девушек, не разносился радостный крик после конца работы, ибо не было ей конца, она была бесконечна, эта рабская работа. И никто не взбегал по лесам быст-

рым веселым шагом, ни один не опережал другого; а если кто и бежал, то, верно, не один, а двое — иудей и надсмотрщик-египтянин с плетью-скорпионом в руке. И старые иудеи говорили: тяжел камень пирамид, но тяжелей рабская работа.

А теперь? Словно подменили людей! Все глаза радуются, все рты смеются. Молодые женщины и девушки поют, моя багряницы, но в слова божественного гимна вливается солнце дня, молодость, и тоскливый плач, сложенный в год неволи, становится гимном свободы.

Молодые копают ямы, носят землю, песок, строгают дерево, разжигают пламя, и сухой хворост пылает на двух кострах, а юноши подносят еще и еще большие охапки, а рты их не закрываются, а глаза не перестают искать девичьи глаза.

Приходили старые, степенные люди и с ласковой улыбкой присматривались к работе молодых. Только порой кто-нибудь крикнет с деланной строгостью:

— Ну что это? Разве это работа? Эх вы!.. Не так мы, бывало, работали! А ну дай-ка лопату, я покажу тебе, как я работал, когда у меня была борода не больше твоей.

И юноша, шутя, отдавал заступ старику, а тот, словно и в самом деле почуяв в себе прилив прежних сил и упорства, копал, как восемнадцатилетний, приговаривая: «Вот как у нас работали! Вот как мы работали! Вот как!..» А молодые вокруг смеялись и советовали старику отдохнуть; вот уже кто-то прикатил камень, кто-то ласково отбирает у него лопату, и старик, в самом деле утомясь, садится.

— Эх-хе! Не те года! — говорит он и смеется, и вокруг все смеются.

И солнце смеется, глядя на это с неба, и приветствует детскую радость Израиля и жар его порывов.

Так было вокруг кущи мастера, а внутри... внутри происходило священное таинство, и Авирон участвовал в нем. О, почему сердце его не перестало биться вчера в пустыне, в час молитвы? Почему пески не засыпали ему глаза, чтобы он не видел того, что видит теперь?

Суров был Веселиил, главный мастер, назначенный самим богом и благословленный Моисеем. Он великолепно знал свое ремесло и тайны его, и оттого что он знал множество мелочей, мозг его не в состоянии был охватить цели. Господь никогда не говорил его душе, и в своей работе Веселиил всегда видел только работу, будь то телец Аарона или херувимы Моисея. К тому же у него, как и у всех ремесленников, была привычка сквернословить, и это была закоренелая привычка — часть натуры: один поет за работой, другой шутит, третий молчит; а вот Веселиил ругался, и чем забористее слова подсказывала его грубая фантазия, тем лучше спорилась работа и тем легче и прекраснее были изделия его рук.

А в этот день Веселиил еще был зол, и брань его наперчилась вдвое. Он клял все, что только приходило ему в голову, будь то живые существа или мертвые предметы, не ощущающие его злобы. Сегодня все было не так, и глина, которую он месил, никуда не годилась, и он поносил и тех, кто приказал что-то делать из нее, и тех, кто не нашел лучшей, и самого себя за то, что

взялся на свою голову за эту дурацкую работу. Огонь горел совсем не так, как должно ему гореть, весь материал ничего не стоил, а уж самым худшим из несчастий был Авирон. Это была просто кара божия, а не помощник! Он бежал, когда надо было идти медленно, и напротив, полз, как черепаха, когда следовало лететь стремглав. Ничего не умел — ни подать, ни приготовить; по двадцать раз спрашивал то, что мог сделать сам, и не спрашивал именно тогда, когда это было совершенно необходимо. Говорили ему принести одно — он нес другое; говорили делать так — он делал наоборот. Когда он был нужен, его не было в куше, и напротив, ненужный, он вечно попадался на пути и путался под ногами. Веселил кричал, ругался, брызгал слюной и бросал в беднягу чем ни попадя.

— И какие только злые духи свалили тебя мне на голову? Какой глупый отец породил тебя и какая дура мать вскормила? Вот уж истинно была пара! Лучше бы твоей матери приложить к груди и выкормить своим молоком молодую свинью, чем такого остолопа, как ты! И кто покарал меня тобой и еще вот этой идиотской работой, в которой мудрейший из мудрецов не сыщет смысла за тысячу дней? Этот старый дурак Моисей впал уже в детство и не знает, что еще ему выдумать. Вылил ведь я одного бога, зачем же он сжег его и сколько материалу испортил? Может, скажет, плохая была работа? Пусть-ка попробует отлить лучше! Хотелось бы мне посмотреть на бога, который вышел бы из рук Моисея или, еще того чище, из рук его безмозглого брата Аарона! Ого! Вот это был бы бог!

Только он знает, старая бестия, что нет больше в сонме человека, который смог бы так сделать, как я, вот и надувает людей: сам господь, мол, показал мне Веселиила, как слугу своего! Хе-хе! Я и ему сказал это. Думаешь, нет? О, мне некого бояться! Так и сказал: «Мог бы ты хоть сюда не соваться со своим богом». А он рассмеялся да и шепчет: «Нельзя, братец, иначе, так надо» — и продолжает в том же духе... О, он, шельма, знает, что и где говорить. Умеет держать народ в руках. Гляди, сколько перебил за то, что поклонялись богу-тельцу, а меня и пальцем не тронул, хотя, по правде-то говоря, кого следовало бы первым покарать? Если не меня, так Аарона: Аарон приказывал, я делал, а глупые людишки лбами оземь били, только всей и вины! А Моисей, вишь, ни брата не тронул, ни меня. А почему? Потому что умен. Потому что знает: случись что со мною, кто будет делать для него всякую всячину? И херувимов этих шепелявых, и чаши, и светильники, и стойки, и ковчег, и всякие другие затей?

Авирон слушал и не знал — наяву все это или в кошмаре, в тяжком, гнетущем кошмаре... Святыня бога оплевывалась грязными словами ремесленника, он поносил самое имя вседержителя! До этого не доходил ни брат Датан, ни сам безбожный Корей и никто, никто на земле...

И бог это слышит? И молчит? И смолчит? И простит? И забудет? И не сожжет живьем?.. Да где же тогда все слова Моисея, где сила и гнев господни? *Где тогда правда?*

И Авирон стоял в уголке с дико расширенными глазами, словно его стукнули по голове, и жаль было смотреть на него... В шатре стало

тихо, Веселиил почему-то умолк и, очень занятый, только порой ехидно кривился. Вдруг он громко расхохотался и крикнул:

— А ну, кара моя небесная, поди сюда!

Авирон не двинулся с места.

— Да иди, калека, когда тебя мастер зовет! — нахмурился было Веселиил, но тут же снова рассмеялся.

Авирон, шагнув как деревянный, приблизился.

— Полюбуйся на рожицу этого херувимчика! — И мастер показал рукой на свою работу.

Авирон посмотрел и... отскочил, чуть не вскрикнув.

На него смотрело нечто столь страшное, столь чудовищное, что он заслонился руками... Перекошенный рот, острый подбородок, кривой, крючковатый нос, долбленные дырки вместо глаз, угловатая голова, и на всем печать чего-то такого отвратительного, развратного, такой скверны, что хотелось бежать на свежий воздух...

— Что это? Что это?.. — едва слышно, весь дрожа, спросил Авирон.

— А ты что, не видишь? Херувим для Моисея. Святыня израильская, которую он так хотел лизать... — И Веселиил смеялся, и смеялось отвратительное чудище с перекошенным ртом, и смех у них был одинаковый.

— И это... И это так и будет?..

— А как же еще? — И Веселиил хохотал еще сильнее, и с ним вместе хохотал херувим, а из его разорванного рта словно исходило зловоние.

— Вот мы поставим это божество тут, в уголке, — продолжал Веселиил, оттаскивая статую в сторону, — пусть придет Моисей и посмотрит.

Хотел — получай! Я сделал доброго бога, и недурно сделал, а он — жечь? Нет уж! Садитесь сами за работу и лепите, а я вам не дурак, сегодня один брат брякнет — делай так, а завтра другой брат — делай иначе, и я должен всякого пустозвона слушать? Нет, благодарю покорно! Я уже не маленький, у меня внуки бегают.

И как раз в эту минуту вошел Моисей.

— Ну, как тут у тебя, старый ворчун? А там пошла работа... вовсю! — И Моисей рассмеялся.

Но что-то в этом смехе резануло Авирона по сердцу. Он впервые слышал, как хохочет великий пророк, и лучше бы ему никогда этого не слышать! Это был смех победителя. Моисей одолел Израиля и снова, теперь уже надолго, стал его господином.

— А что это ты тут натворил?.. — спросил Моисей, остановясь перед прислоненным к стене херувимом.

И Авирон ждал, что нахмурятся брови великого пророка, что молния сверкнет из его глаз и поразит святотатца, что явится наконец правда господня... Но ничего не случилось... Вместо того, чтобы разгневаться, Моисей разразился смехом и хохотал, упершись в бока, так, что колыхался всем своим дородным телом.

А Веселиил ловким движением подхватил ангела, поставил перед собою и стал водить пальцами по его лицу. И казалось, он играл, делая бесчисленное множество ненужных движений: то комично вывертывал палец, то врезался в глину твердым, как железо, ногтем, то быстро-быстро тер одно место и все не переставал приговаривать разные глупости. Откинув голову и при-

щурясь, он всматривался в свою работу и наконец резким движением совсем отстранился, отошел от нее и крикнул:

— А ну, погляди теперь, глупец!

Авирон посмотрел и не мог сообразить, что это: в самом деле сила господня или колдовство?

На него скорбно смотрело божественное лицо. Из глаз, казалось, вот-вот польются слезы, а губы, живые, только чуть побледневшие, тихо шептали молитву...

И это было так прекрасно, так дивно, что хотелось пасть на колени и разрыдаться. Авирон и разрыдался... от всего того, что было, было в душе и не могло исчезнуть под печальным взглядом ангела. Оскорбление бога и смех над ним — это уже слишком много для чистой души одного из тех, кому не дано умение властвовать... И Авирон, закрыв полою одежды лицо, плакал...

— Что с тобой, дитя мое? — раздался над ним знакомый, божественно мягкий голос. В нем снова слышались те нотки, которые в другое время могли бы довести юношу до экстаза, снова на голову его легла мягкая старческая рука, но теперь Авирон оценил все это иначе. Ласка Моисея была официальной лаской: этот старый человек *знал*, что следует иногда пожалеть ближнего, сделать вид, что его боль отчасти и твоя тоже; этот старый человек *знал*, каким способом складывать губы, чтобы исходил из них тихий жалостливый голос с теми чарующими нотками, которые равно любят все тысячи плачущих... И Авирон ничего не ответил и заплакал еще горше...

... Без памяти вышел Авирон из сонма и, не



глядя, все шел, шел... Нечто великое объяло его и потащило в темную страшную бездну...

Он боролся! Он не хотел! Он еще звал бога, но бог не приходил... Он молил безгрешную пустыню, но пустыня не откликалась.

— Боже! Боже, спаси меня, я тону... Глубины моря разверзаются под моими ногами, и буря сомнений топит меня, боже... Не меня спаси — веру мою спаси и упования мои... Ты же видишь мое безумство, и мысли мои не утаены от тебя! Я же не верю больше в тебя, боже, и в пророка твоего не верю. Обман слышу я в голосе твоём и хитрость вижу в твоей силе. В пророке твоём вижу человека. Ради княженья и владычества гремел он голосами труб, топтал твои скрижали и убивал живущих. О боже! Кто же из вас двоих обманщик? Моисей, не назвавший нам твоего имени, не показавший твоего лица и чертога твоего?.. Или ты сам, боже?.. Да живешь ли ты в небе, держишь ли и вправду гром свой и меч? Или мы только должны верить, что ты есть?.. О боже, во имя своей славы, во имя существования твоего, во имя правды на земле покажи мне свое лицо... Я не боюсь! Пусть испепелит меня твой взор, пусть разверзнется подо мной земля, пусть погибну я в мучениях, но покажи мне твое лицо!.. Если я уверую, уверуют и все те, что придут после меня, и будут лить кровавые слезы сомнения. Ради них, ради крови взыскующих, покажи мне твое лицо!.. Если же нет, если ты снова скроешься под покров невидимости и я не услышу голоса твоего не в скиниях Моисея, а здесь, посреди этой бесхитростной пустыни, тогда не верю я в тебя и кричу: «Пусты твои небеса! Об-

ман — царство твое! Бессильна твоя воля!..
И сам ты — обман! Ты — бессилие мое!.. Ты —
безумство мое!.. Ты...»

...И Авирон упал на землю и корчился в муках. И слезы его равнодушно впитывал песок пустыни. А небеса?.. Небеса молчали... как молчат и до сего дня.



ДЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Хоткевич Гнат Мартынович

АВИРОН

Повесть



Ответственный редактор
Т. Б. Вьюкова.
Художественный редактор
Б. А. Дехтерев.
Технический редактор
О. Н. Яковлева.

Корректоры

Л. М. Агафонова и Э. Н. Сизова.



Сдано в набор 2/II 1969 г. Подписано к печати 31/III 1969 г. Формат 84×108¹/₃₂.
Печ. л. 6. Усл. печ. л. 5,04. Уч.-изд. л. 3,66.
Тираж 50 000 экз. ТП 1969 № 377. А06148.

Цена 22 коп. на бум. № 1.

Издательство «Детская литература».

Москва, М. Черкасский пер., 1.

Фабрика «Детская книга» № 2 Росглав-
полиграфпрома Комитета по печати при
Совете Министров РСФСР. Ленинград,
2-я Советская, 7. Заказ № 462.